

100 великих романов

Уилки КОЛЛИНЗ

ЖЕНЩИНА
В БЕЛОМ



100 великих романов

Уильям Коллинз
Женщина в белом

«ВЕЧЕ»

1860

Коллинз У. У.

Женщина в белом / У. У. Коллинз — «ВЕЧЕ», 1860 — (100 великих романов)

ISBN 978-5-4444-9271-0

Известный во всем мире английский писатель Уилки Коллинз (1824–1889) по праву считается одним из основоположников детективного жанра. Молодой лондонский художник Уолтер Хартрайт встречает на пустынной дороге странную женщину, одетую в белое. Загадочная незнакомка и молодой человек продолжают путь вместе... Роман «Женщина в белом» переведен на многие языки, не раз экранизирован и по сей день привлекает читателя как романтическими отношениями героев, так и роковыми тайнами и семейными проклятиями.

ISBN 978-5-4444-9271-0

© Коллинз У. У., 1860

© ВЕЧЕ, 1860

Содержание

Роман-пазл	6
Первый период	8
Рассказывает учитель рисования из Климентс-Инна Уолтер Хартрайт	8
Рассказ продолжает Уинсент Гилмор из Ченсери-Лейн, поверенный семьи Фэрли	70
Рассказ продолжает Мэриан Голкомб	90
Конец ознакомительного фрагмента.	92

Уилки Коллинз Женщина в белом

© Клех И.Ю., вступительная статья, 2017

© ООО «Издательство «Вече», 2017

* * *

Роман-пазл

«В этом романе предпринят эксперимент, к которому (насколько мне известно) до сих пор не прибегали в литературе. О событиях, происходящих в книге, от начала и до конца рассказывают ее персонажи», – написал Уилки Коллинз (1824–1889) полтора года назад в предисловии к своему роману «Женщина в белом». И это, пожалуй, самое интересное в романе – новый конструктивный принцип повествования, оказавшийся довольно продуктивным. Позаимствованный из судебной практики, он позволяет самую незатейливую историю сделать интригующей, многогранной и объемной.

Дело тут вот в чем. Художественная литература вообще и Нового времени в особенности преимущественно монологична. По умолчанию и негласной конвенции между автором и читателем, автор произведения – своего рода демиург, творец, как бы божество низшего порядка. Он создает мир своего произведения и населяет его по собственному усмотрению, в той или иной степени считаясь с читательскими ожиданиями, сформировавшимися в той или иной культуре во вполне определенное время. Главный атрибут что романтического, что реалистического писателя, а тем более бульварного, – это всеведение в рамках своего произведения. Автор, подобно духу, витает где хочет и проникает куда угодно, присутствует при разговорах своих героев с глазу на глаз, свободно внедряется в их сознание, рассказывая читателю, что они чувствуют и думают. Более того, он овладевает сознанием читателя, и совершенно не случайно в XIX веке писателей часто называли властителями дум. Конечно, это условность искусства, и одним из первых романистов, кто обратил на это внимание и попытался перезаключить конвенцию с читателем, был Коллинз.

Можно подумать, что примененный им принцип – это драматургизация повествования, поскольку драматург не имеет собственного голоса и замечен только в ремарках и только при чтении пьесы. Но у Коллинза и его последователей персонажи перенимают и делят между собой авторство в полном объеме, так что повествование собирается воедино их совокупными усилиями, как пазл. Они не разыгрывают историю, а рассказывают ее – каждый «со своей колокольни» и только какой-то ее фрагмент. Особенно по вкусу такой конструктивный принцип пришелся писателям-модернистам уже в XX веке. Коллинз в романе «Лунный камень», породившем всю британскую детективную литературу, существенно усовершенствовал и сделал более убедительным изобретенный им метод.

Чем без этого новшества был бы роман «Женщина в белом»? Видимо, типичным продуктом так называемой сенсационной литературы (родоначальником которой в Британии был Коллинз), авантюрно-криминально-развлекательного чтива Викторианской эпохи. В нем типичная мелодрама сочетается с элементами британского готического романа (А. Радклиф) и французского сенсационного романа (Э. Сю). К счастью, Коллинз в молодые годы имел честь быть другом, учеником и даже соавтором Диккенса (они состояли в непрямом родстве). Отсюда неподдельный интерес к психологии и социальным вопросам, наложивший печать на его «сенсационные» романы. Другим важнейшим компонентом их – по принципу «не было бы счастья, да несчастье помогло» – Коллинз обязан своему юридическому образованию и службе адвокатом до знакомства с Диккенсом. Отсюда профессиональный интерес к расследованию преступлений всякого рода и компетенция в этой области. Впрочем, таково было повальное увлечение в викторианской Англии, когда уголовные процессы в судах стали вестись публично и подробнейшие отчеты о них в газетах превратились в приманку для читателей.

Таким образом, главный «злодей» в романе «Женщина в белом», граф Фоско, обязан своим появлением отчасти готическому роману (отсюда его таинственная «инфернальность»), отчасти носившейся в воздухе идее сверхчеловека – с уклоном в конспирологию

(масоны, карбонарии) и философию выживания сильнейших (дарвинисты, Раскольников и «бесы» Достоевского не с Луны свалились), отчасти технократической позитивистской утопии, овладевшей человечеством после проведения в Лондоне в 1851 году первой грандиозной Всемирной торгово-промышленной выставки (и Фоско – то ли без пяти минут профессор Мориарти, то ли недоделанный Фантомас, да только ритуально заколотый и утопленный в Сене Коллинзом).

Другой злодей и наперсник Фоско, сэр Персиваль Глайд, – это уже реальный преступник из судебных хроник, представитель правящего класса Викторианской эпохи, коварный лицемер и жестокий хищник.

Их невольным пособником становится эсквайр Фредерик Фэрли, сатирически изображенный в манере Диккенса и Теккерея: «Нервы мистера Фэрли и его капризы – это одно и то же».

А противостоят злу и побеждают силы – добра, несущие человеческие потери и представленные в духе романтической мелодрамы со всеми ее клише.

Но главное в этом романе – вышеописанный конструктивный принцип, делающий его увлекательным пазлом для читателя.

Игорь Клев

Первый период

Рассказывает учитель рисования из Климентс-Инна Уолтер Хартрайт

I

Это история о том, что может выдержать женщина и чего может добиться мужчина.

Если бы машина правосудия неукоснительно и беспристрастно разбиралась в каждом подозрении и вела судебное следствие, лишь умеренно подмазанная золотом, события, описанные на этих страницах, вероятно, получили бы широкую огласку во время судебного разбирательства.

Но в некоторых случаях закон до сих пор еще остается наемным слугой туго набитого кошелька, и потому эта история будет впервые рассказана здесь. Так же как мог бы услышать ее судья, теперь услышит читатель. Ни об одном из существенных обстоятельств, относящихся к раскрытию этого дела, от начала его и до конца, не будет рассказано здесь на основании слухов.

В тех случаях, когда Уолтер Хартрайт, пишущий эти строки, будет стоять ближе других к событиям, о которых идет речь, он расскажет о них сам. Когда он не будет участвовать в них, он уступит свое место тем, кто лично знаком с обстоятельствами дела и кто продолжит его труд столь же точно и правдиво.

Итак, эту историю будут писать несколько человек – как на судебном процессе выступают несколько свидетелей; цель в обоих случаях одна: изложить правду наиболее точно и обстоятельно и проследить течение событий в целом, предоставляя живым свидетелям этой истории одному за другим рассказывать ее.

Первым выслушаем учителя рисования Уолтера Хартрайта, двадцати восьми лет.

II

Был последний день июля.

Длинное жаркое лето подходило к концу, и мы, устав странствовать по лондонским мостовым, начинали подумывать о прохладных облаках над деревенскими просторами и об осенних ветрах на побережье. Что касается моей скромной особы – уходящее лето оставляло меня в плохом настроении, в плохом состоянии здоровья и, по правде сказать, почти без денег. В течение года я распоряжался своим заработком менее осторожно, чем обычно, и мне оставалась только одна возможность: провести осень в коттедже моей матушки в Хемпстеде или в моей собственной комнате в Лондоне.

Помнится, вечер был тихий и облачный, лондонский воздух был удушливым, городской шум стихал. Сердце огромного города и мое, казалось, бились в унисон все глуше и глуше, замирая вместе с закатом. Я оторвался от книги, над которой больше мечтал, чем читал ее, и вышел из дому, чтобы отправиться за город подышать вечерней прохладой. Это был один из двух вечеров, которые обычно я каждую неделю проводил с матушкой и сестрой. Поэтому я направился к Хемпстеду.

Необходимо упомянуть здесь о том, что отец мой умер за несколько лет до тех событий, которые я описываю, и что из пятерых детей оставались в живых только сестра Сара и

я. Отец был учителем рисования, как и я. Трудолюбивый и старательный, он преуспевал в работе. Радея о будущем своей семьи, не имевшей других средств к существованию, кроме его заработка, он сразу после женитьбы застраховал свою жизнь на гораздо большую сумму, чем это обычно делают. Благодаря его самоотверженным заботам моя мать и сестра могли жить после его смерти, ни в чем не нуждаясь. Уроки моего отца перешли ко мне по наследству, и будущее не страшило меня.

Спокойные блики заката еще озаряли вершины холмов и Лондон внизу потонул уже в темной бездне хмурой ночи, когда я подошел к калитке матушкиного коттеджа. Не успел я позвонить, как дверь распахнулась, и вместо служанки на пороге появился мой приятель, профессор Песка, итальянец. Он бросился мне навстречу, оглушительно выкрикивая нечто похожее на английское приветствие. Профессор сам по себе заслуживает чести быть вам представленным, да к тому же это надо сделать ввиду дальнейшего. Волею случая именно с него началась та загадочная семейная история, о которой будет рассказано на этих страницах.

Я познакомился с профессором Пеской в одном из богатых домов, где он давал уроки своего родного языка, а я – рисования. О его прошлом я знал только, что когда-то он преподавал в Падуанском университете, вынужден был покинуть Италию «из-за политики» (что это значило, он никогда никому не объяснял), а теперь вот уже много лет был уважаемым преподавателем иностранных языков в Лондоне.

Не будучи карликом в настоящем смысле этого слова, ибо он был очень пропорционально сложен, Песка был, по-моему, самым маленьким человечком, которого я когда-либо видел не на сцене, а в жизни. Он отличался от прочих смертных не только своей внешностью, но и безвредным чудачеством. Главной целью его жизни было стремление превратиться в настоящего англичанина, дабы тем самым выказать благодарность стране, где он обрел убежище и средства к существованию. Из уважения к нашей нации, он вечно носил с собой зонтик и ходил в цилиндре и гетрах. Кроме того, он считал своим долгом не только выглядеть англичанином, но и придерживаться всех исконно английских обычаев и развлечений. Полагая, что мы отличаемся особой любовью к спорту, этот человек чистосердечно и наивно предавался всем нашим национальным спортивным забавам, твердо убежденный, что их можно постичь одним усилием воли, совершенно так же, как он приспособился к гетрам и цилиндру.

Я сам неоднократно видел, как он слепо рисковал своими конечностями на крикетном поле или на лисьей охоте. И вот однажды мне довелось стать свидетелем, как он столь же слепо рискнул своей жизнью на море у Брайтонского пляжа.

Мы встретились там случайно и отправились вместе купаться. Если бы мы занялись каким-либо чисто английским спортом, я из предосторожности, конечно, заботливо приглядывал бы за Пеской, но так как иностранцы обычно чувствуют себя в воде так же хорошо, как и мы, англичане, мне не пришло в голову, что искусство плавания принадлежит к тем спортивным упражнениям, которые профессор считает возможным постичь сразу – по наитию. Мы отплыли от берега, но вскоре я заметил, что мой приятель отстал. Я обернулся. К моему ужасу и удивлению, между мной и берегом я увидел только две белые ручки, мелькнувшие над водой и мгновенно исчезнувшие. Когда я нырнул за ним, бедный маленький профессор лежал, свернувшись в клубочек, в углублении на дне и выглядел еще крошечнее, чем когда-либо раньше. Я вытащил его на поверхность, свежий воздух вернул его к жизни, и с моей помощью он добрался до кабинки. Вместе с жизнью к нему вернулось его восхитительное заблуждение касательно плавания. Как только он перестал стучать зубами и смог выговорить несколько слов, он неопределенно улыбнулся и заявил, что, «по всей вероятности, это была судорога». Когда он окончательно пришел в себя и присоединился ко мне на пляже, его темперамент южанина мгновенно взял верх над искусственной английской сдер-

жанностью. В самых восторженных выражениях Песка поклялся мне в вечной благодарности, уверяя, что не успокоится, пока не оплатит мне услугой, которую я, в свою очередь, запомню до конца моих дней.

Я сделал все, что мог, чтобы прекратить поток его излиятий и превратить все в шутку. Мне показалось, что я сумел несколько охладить его преувеличенное чувство благодарности.

Не думал я тогда, как не думал и позже, в конце наших веселых каникул, что, страстно желая отблагодарить меня, он вскоре ухватится за первую возможность оказать мне услугу, которая направит всю мою жизнь по новому пути и до неузнаваемости изменит меня самого.

Но так случилось.

Если б я не нырнул за профессором Пеской, когда он лежал на дне морском, то, по всей вероятности, я никогда бы не стал участником событий, изложенных тут; я бы никогда не услышал имя женщины, овладевшей всеми помыслами души моей, ставшей целью всех моих стремлений, путеводной звездой, озаряющей теперь мой жизненный путь.

III

По выражению лица Пески, бросившегося мне навстречу в тот вечер, я сразу понял, что произошло нечто из ряда вон выходящее. Просить у него немедленного объяснения было бесполезно. Я мог только предположить, когда он весело тащил меня в комнаты, что, зная мои привычки, он пришел в коттедж для того, чтобы меня встретить и рассказать какие-то чрезвычайно приятные новости.

Мы ворвались в гостиную самым невежливым и шумным образом. Матушка сидела у открытого окна и смеялась, обмахиваясь веером. Песка был одним из ее любимцев; она прощала ему все его чудачества. Дорогая матушка! С той минуты, как она узнала о его благодарности и преданности ее сыну, она приняла маленького профессора в свое сердце и к его непонятным чужеземным выходкам относилась с невозмутимым спокойствием, не пытаясь разгадать их смысл. Сестра моя Сара, несмотря на свою молодость, была более сдержанна. Она отдавала должное прекрасным душевным качествам Пески, но не принимала его целиком, как моя мать. С ее точки зрения, он постоянно нарушал границы дозволенного и тем сильно ее шокировал. Ее всегда удивляла снисходительность матери к эксцентричному маленькому иностранцу. Надо сказать, что, по моим наблюдениям не только над сестрой, но и над другими, мы, молодое поколение, далеко не так сердечны и непосредственны, как наши старшие. Мне часто приходится видеть, как старики по-детски радуются, предвкушая какое-нибудь невинное удовольствие, тогда как их внуки относятся к оному с полным равнодушием. Я нахожу, что люди старшего поколения были в свое время более подлинными детьми, чем мы. Может быть, за последние десятилетия воспитание сделало такие успехи, что мы теперь чересчур уж воспитанны?

Не решаясь утверждать это, я должен сказать, что в обществе профессора Пески моя мать казалась гораздо моложе моей сестры. Так и на этот раз: в то время как матушка от души смеялась над нашим мальчишеским вторжением в гостиную, Сара озабоченно подбирала осколки чашки, опрокинутой профессором на пол, когда он стремглав помчался открывать мне дверь.

– Я не знаю, что было бы, Уолтер, если б ты запоздал, – сказала матушка. – Песка чуть с ума не сошел от нетерпения, а я – от любопытства. Профессор явился с замечательной новостью – она касается тебя. Но он безжалостно отказался вымолвить о ней хотя бы словечко, пока не придет его друг Уолтер.

– Как обидно – теперь сервис испорчен! – пробормотала про себя Сара, грустно разглядывая осколки.

В это время Песка в блаженном неведении причиненного им зла выкатывал большое кресло из угла на середину комнаты, чтобы предстать перед нами во всем величии публичного оратора. Повернув кресло спинкой к нам, он взгромоздился на него и возбужденно обратился с этой импровизированной кафедры к собранию, состоявшему всего из трех слушателей.

– Итак, добрые мои, дорогие, – начал Песка (он всегда говорил «добрые мои, дорогие», когда хотел сказать «мои достойные друзья»), – слушайте меня! Пробил час, и я расскажу мои новости – я наконец могу говорить.

– Слушайте, слушайте, – сказала матушка одобрительно.

– Мама, – шепнула Сара, – сейчас он поломает наше лучшее кресло!

– Я вернусь в прошлое, чтобы оттуда воззвать к благороднейшему из смертных, – продолжал Песка, яростно указывая на меня из-за спинки кресла. – Кто нашел меня мертвым на дне морском (из-за судороги), кто вытащил меня наверх? И что я сказал, когда я вернулся к моей жизни и одежде?

– Гораздо больше, чем требовалось, – ответил я очень сердито, ибо, когда он затрагивал эту тему, малейшее поощрение вызывало у профессора потоки слез.

– Я сказал, – настаивал Песка, – что моя жизнь принадлежит моему другу Уолтеру до конца дней моих и что я не успокоюсь, пока не найду случая сделать нечто для Уолтера. И я не мог обрести покой до сегодняшнего дня. Сегодня, – завопил маленький профессор, – неудержимое счастье переполняет меня с головы до ног и льет через край! Клянусь честью: нечто наконец сделано, и мне осталось сказать одно только слово: правильно, все хорошо!

Необходимо заметить, что Песка гордился своей (по его мнению) истинно английской речью, внешностью и образом жизни. Подцепив несколько общеупотребительных слов, непонятных ему, он щедро разбрасывал их где придется и нанизывал одно на другое в восторге от их звучания.

– Среди лондонских светских домов, где я преподаю мой родной язык, – торопливо продолжал профессор, не давая себе передышки, – есть один в высшей степени светский, на площади Портленд. Вы знаете, где это? Да, да, разумеется, конечно. В прекрасном доме, дорогие мои, живет прекрасная семья: мама – толстая и красивая, три дочки – толстые и красивые, два сына – толстые и красивые, и папа – самый толстый и красивый из всех. Он могучий купец и купается в золоте. Когда-то красавец, но теперь у него лысина и два подбородка, и он уже не красавец. Но к делу! Я преподаю дочкам язык божественного Данте. И, помилуй меня господь, нет слов, чтобы передать, как труден божественный Данте для этих трех хорошеньких головок! Но это ничего, все зреет во времени – чем труднее, тем больше уроков, и тем лучше для меня. Правильно! Но к делу! Представьте себе, что сегодня я занимаюсь с тремя барышнями как обычно. Мы вчетвером у Данте в аду – на седьмом круге. Но не в этом дело: все крути одинаковы для толстых и красивых барышень. Однако на седьмом круге мои ученицы застряли, и я, чтобы вытащить их, цитирую, объясняю и чуть не лопаюсь, багровея от бесплодных усилий, когда в коридоре слышится скрип сапог и входит Золотой папа, могучий купец с лысиной и двумя подбородками. А вы, наверно, уже сказали про себя: «Громы небесные! Песка никогда не кончит!»

Мы хором заявили, что нам очень интересно. Профессор продолжал:

– В руках у Золотого папы письмо. Извинившись, что житейскими мелочами он мешает нашим адским изысканиям, он обращается к трем барышням и начинает, как и все англичане, с огромного «О». «О мои дочки, – говорит могучий купец, – я получил письмо от моего друга мистера...» Имя я забыл, но это неважно, мы еще к нему вернемся. Да, да, все правильно, хорошо! Итак, папа говорит: «Я получил письмо от моего друга мистера такого-то, он просит меня рекомендовать учителя рисования к нему, в его имение». Клянусь честью! Когда я услышал эти слова, я был готов броситься к нему на шею, если бы мог до нее достать,

чтобы прижать его к сердцу! Но я только подпрыгнул на стуле. Я сгорал желанием высказаться, но прикусил язык и дал папе кончить. «Может быть, вы знаете, – говорит этот крупный богач, помахивая письмом, – может быть, вы знаете, мои дорогие, какого-нибудь учителя рисования, которого я мог бы рекомендовать?» Три барышни переглянулись и отвечают (конечно, начав с неизменного «О!»): «О нет, папа, но вот мистер Песка...» Услышав свое имя, я уже не мог больше сдерживаться – мысль о вас, мои дорогие, бросается мне в голову, я вскакиваю как ужаленный, обращаюсь к могучему купцу и говорю, как типичный англичанин: «О дорогой сэра, я знаю такого человека! Наилучший и наипервейший в мире учитель рисования! Рекомендуйте его сегодня, а завтра отправляйте его туда со всеми потрохами». (Еще один чисто английский оборот!) – «Подождите, – говорит папа, – он англичанин или иностранец?» – «Англичанин до мозга костей», – отвечаю я. «Порядочный человек?» – говорит папа. «Сэр! – говорю я (ибо этот последний вопрос возмутил меня, и я перестал обращаться с ним запросто). – Сэр! Бессмертное пламя гениальности пылает в груди этого англичанина, а главное, оно пылало и в груди его отца». – «Пустяки, – говорит этот Золотой варвар-папа, – бог с ней, с его гениальностью, мистер Песка. Нам, в нашей стране, не нужна гениальность, если она не идет об руку с порядочностью, а когда они вместе – мы рады, очень рады! Может ли ваш друг представить рекомендации?» Я небрежно помахал рукой. «Рекомендации?! – говорю я. – Господи боже, ну конечно. Груды рекомендаций! Сотни папок, набитых ими, если хотите». – «Достаточно одной или двух, – говорит флегматичный богач. – Пусть пришлет их мне со своим адресом. И подождите, мистер Песка. Прежде чем вы пойдете к вашему приятелю, я вам передам кое-что для него». – «Деньги! – восклицаю я с возмущением. – Никаких денег, пока мой истый англичанин их не заработает!» – «Деньги? – удивляется папа. – Кто говорит о деньгах? Я имею в виду записку об условиях работы. Продолжайте ваш урок, а я перепису их из письма моего друга». И вот обладатель товаров и денег берется за перо, бумагу и чернила, а я снова погружаюсь в дантовский «Ад» с моими барышнями. Через десять минут записка окончена, и сапоги папы, скрипя, удаляются по коридору. С этой минуты, клянусь честью, я позабыл обо всем. Потрясающая мысль, что наконец моя мечта исполнилась и я могу услужить моему другу, опьяняет меня! Как я вытащил трех барышень из преисподней, как давал следующие уроки, как проглотил обед – обо всем этом я знаю не более, чем лунный житель. С меня достаточно того, что я здесь с запиской могучего купца – щедрый, как сама жизнь, пламенный, как огонь! Я счастлив по-королевски! Ха-ха-ха! Хорошо, хорошо, все правильно-хорошо!

И профессор, неистово размахивая над головой конвертом, закончил бурный поток своего красноречия пронзительной пародией на английское «ура».

Едва он замолчал, как матушка с блестящими глазами, вся зардевшись, вскочила с места. Она ласково схватила маленького профессора за руки.

– Дорогой Песка, – сказала она, – я никогда не сомневалась, что вы искренне любите Уолтера, но теперь я убеждена в этом более чем когда-либо!

– Мы очень благодарны профессору Песке за нашего Уолтера, – прибавила Сара.

С этими словами она привстала, как бы намереваясь, в свою очередь, подойти к креслу, но, увидев, что Песка покрывает страстными поцелуями руки моей матери, нахмурилась и опять села на место. «Если этот фамильярный человечек ведет себя таким образом с моей матерью, как же он будет вести себя со мной?» На человеческих лицах иногда отражаются сокровенные мысли – несомненно Сара думала именно так, когда садилась.

Хотя и я был искренне тронут желанием Пески оказать мне услугу, меня не очень обрадовала перспектива такой работы. Когда профессор оставил в покое руки моей матери, я горячо поблагодарил его и попросил разрешения прочитать записку его уважаемого патрона.

Песка вручил мне ее, торжественно размахивая руками.

– Читайте! – воскликнул он, принимая величественную позу. – Я уверяю вас, мой друг, что письмо Золотого папы говорит само за себя языком, подобным трубному гласу!

Условия были изложены, во всяком случае, ясно, откровенно и весьма понятно.

Меня уведомили, что, во-первых, Фредерик Фэрли, эсквайр, владелец имения Лиммеридж в Кумберленде, ищет опытного учителя рисования на три-четыре месяца. Во-вторых, обязанности учителя рисования будут двоякого рода: руководить занятиями двух молодых леди, обучающихся искусству писать акварели, и в свободное время приводить в порядок ценную коллекцию рисунков, принадлежащих хозяину, которая находится в состоянии полной заброшенности. В-третьих, учитель должен жить в Лиммеридже; он будет на положении джентльмена, а не слуги. Жалованье – четыре гиней в неделю. В-четвертых и в-последних: без рекомендаций, самых подробных в отношении личности и профессиональных знаний, не обращаться.

Рекомендации должны быть представлены другу мистера Фэрли в Лондоне, который уполномочен заключить договор. Записка кончалась фамилией и адресом отца учениц профессора Пески.

Условия были, конечно, соблазнительными, а сама работа, по всей вероятности, и приятной и легкой. Мне предлагали ее на осень – время, когда обычно у меня почти не было уроков. Оплата была очень щедрой, как подсказывал мне мой профессиональный опыт. Я понимал все это. Я понимал, что должен радоваться, если мне удастся получить это место. Однако, прочитав записку, я почувствовал необъяснимую неохоту браться за это дело. Никогда в жизни я еще не испытывал такого разлада между чувством долга и каким-то странным предубеждением, как сейчас.

– Ах, Уолтер, твоему отцу никогда так не везло, – сказала матушка, в свою очередь прочитав записку и отдавая ее мне.

– Познакомиться с такой знатью! – заметила Сара, гордо выпрямившись. – И, что особенно лестно, – быть на равной ноге...

– Да, условия в высшей степени заманчивы, – перебил я нетерпеливо, – но, прежде чем послать рекомендации, я хочу подумать.

– «Подумать»! – вскричала моя мать. – Что с тобой, Уолтер?

– «Подумать»!.. – отозвалась, как эхо, сестра. – Просто непонятно, как ты можешь говорить это при данных обстоятельствах.

– «Подумать»!.. – провизжал Песка. – О чем? Отвечайте мне. Разве вы не жаловались на свое здоровье и не мечтали о том, что вы называете «поцелуй деревенского ветерка и глоток свежего воздуха»? И вот в ваших руках бумага, которая предоставляет вам и эти ветерки, и эти глотки, которыми вы сможете захлебываться в течение целых четырех месяцев! Не так ли? А деньги? Разве четыре гиней в неделю не деньги? Господи боже ты мой! Дайте их мне, и мои сапоги будут скрипеть так же, как у Золотого папы, который подавляет всех своим богатством. Четыре гиней в неделю! И к тому же в очаровательном обществе двух молодых девиц! Более того, вы получаете постель, утренний завтрак, обед, вас будут кормить и поить по горло английскими чаями, пенистым пивом, и все это даром! Ну, Уолтер, дружище, черт побери, впервые в жизни мои глаза так лезут на лоб от удивления!

Но ни искреннее недоумение матушки, которая никак не могла понять моего странного поведения, ни восторженное перечисление профессором моих многочисленных будущих благ не могли поколебать безрассудное мое нежелание ехать в имение Лиммеридж. Все доводы против поездки в Кумберленд были, к моему великому огорчению, категорически отвергнуты. Тогда я попробовал выдвинуть главное препятствие: что же будет с моими лондонскими учениками, пока девицы Фэрли научатся писать с натуры под моим руководством? К сожалению, было очевидно, что большинство учеников уедут на осень, а тех, которые останутся в Лондоне, можно вполне доверить одному из моих коллег, тем более что я сам

выручил его однажды при таких же обстоятельствах. Сестра напомнила мне, что он сам предлагал свою помощь на случай, если я уеду; матушка взывала ко мне во имя моего собственного блага и здоровья, уговаривая не упрямиться; Песка жалобно молил не огорчать его отказом от первой услуги, которую он делает в благодарность за свое спасение.

Искренняя любовь, которая стояла за этими уговорами, тронула бы и самое черствое сердце. Я устыдился своего безотчетного предубеждения, хотя и не смог его побороть, и уступил, обещая сделать все, что от меня потребуется.

Остаток вечера прошел в веселых разговорах о моей будущей жизни в обществе двух обитательниц Кумберленда. Воодушевленный чудодейственным грогом, от которого он опьянел в пять минут, Песка предъявил свои права на звание настоящего англичанина, произнося безостановочно спич за спичем и провозглашая бесчисленные тосты за здоровье моей матушки, моей сестры, мое собственное, а также мистера Фэрли и двух молодых леди, причем он тут же восторженно приносил благодарность самому себе от имени всех нас.

– По секрету, Уолтер, – говорил мне доверительно мой маленький приятель по дороге домой: – я в восторге от своего красноречия! Честолюбие грызет меня, и в один прекрасный день я выступлю в вашем славном парламенте. Мечта всей моей жизни – стать достопочтенным Пеской, членом парламента.

Наутро я послал мои рекомендации на Портленд-Плейс.

Прошло три дня. Я было уже радовался, что меня, очевидно, сочли недостойным занять это место. Но на четвертый день пришел ответ. Мне сообщали, что мистер Фэрли берет меня на службу и просит немедленно выехать в Кумберленд. Все необходимые инструкции относительно моего путешествия были заботливо перечислены в приписке.

Нехотя укладывал я свой чемодан, чтобы завтра рано утром покинуть Лондон. К вечеру по дороге в гости ко мне заглянул Песка – попрощаться.

– Мои слезы, – весело сказал профессор, – быстро высохнут при потрясающей мысли о том, что моя счастливая рука дала первый толчок вашей карьере. Поезжайте, дружище, ради создателя! Куйте железо, пока в Кумберленде горячо! Женитесь на одной из девиц, станьте членом парламента и, достигнув вершины лестницы, помните, что все это сделал Песка там, внизу!

Я попробовал засмеяться вместе с моим маленьким другом, но его шутки не улучшили моего настроения. У меня щемило сердце, когда он произносил свое напутствие. Мне ничего другого не оставалось, как идти в Хемпстед прощаться с матушкой и сестрой.

IV

Весь день стояла жестокая жара, и ночь была душная, угрюмая.

Матушке и сестре хотелось так много сказать мне на прощание и они столько раз просили меня подождать еще пять минут, что было уже около полуночи, когда наконец служанка закрыла за мной калитку.

Пройдя несколько шагов по кратчайшей дороге в Лондон, я в нерешительности остановился.

Яркая луна плыла по темному, беззвездному небу, и холмистый простор, поросший кустарником, казался таким диким и безлюдным в таинственном лунном свете, как будто лежал за многие сотни миль от огромного города. Мысль о скором возвращении в мрачную духоту Лондона показалась мне невыносимой. На душе у меня было так беспокойно, что я задохнулся бы в спертой атмосфере моей комнаты. Я решил пройтись по свежему воздуху и направился в город самым длинным путем – по узкой тропинке, извивающейся среди холмов, с тем чтобы вернуться в Лондон через предместье по Финглейской дороге и прийти домой прохладным ранним утром с западной стороны Ридженс-Парка.

Я медленно шел через рощу, упиваясь глубокой тишиной. Легкие лунные тени играли вокруг, то появляясь, то исчезая. Пока я проходил первую и красивейшую часть моего ночного пути, я пассивно воспринимал впечатления от окружающего, мысли мои ни на чем не задерживались; могу сказать, что я ни о чем не думал. Но когда кустарник кончился и я вышел на проезжую дорогу, где было уже менее красиво, на меня нахлынули мысли об ожидавшей меня перемене. Мало-помалу я всецело погрузился в радужные мечты о поместье Лиммеридж, мистере Фэрли и о моих будущих ученицах, которых вскоре мне надлежало обучать искусству акварели.

Я дошел до перекрестка. Отсюда четыре дороги вели в разные стороны: в Хемпстед, откуда я шел, в Финчли, на запад и в Лондон. Я машинально свернул на последнюю.

Я тихо брел по пустынной, озаренной луной дороге, беспечно думая о том, как выглядят обитательницы Кумберленда. Вдруг вся кровь моя оледенела от легкого прикосновения чьей-то руки к моему плечу.

Я мгновенно обернулся, сжимая в руке трость.

Передо мной, как если б она выросла из-под земли или спустилась с неба, стояла одинокая фигура женщины, с головы до ног одетая в белое. На ее лице, обращенном ко мне, застыл немой вопрос – рукой она указывала на темную тучу, нависшую над Лондоном.

Я был так потрясен ее внезапным появлением глухой ночной порой в этом безлюдном месте, что не мог произнести ни слова.

Странная женщина первая нарушила молчание.

– Это дорога в Лондон? – спросила она.

Я внимательно всматривался в нее. Было около часу ночи. В неясном лунном свете я разглядел бледное молодое лицо, худое и изможденное, большие строгие грустные глаза, нервный, нерешительный рот и легкие светло-каштановые волосы. В ее манерах не было ничего грубого или нескромного; она казалась очень сдержанной и тихой, немного печальной и немного настороженной. Она не выглядела настоящей леди, но в то же время не была похожа на бедную простолюдинку. Голос ее звучал как-то глухо и прерывисто; она говорила очень торопливо. В руках она держала сумочку. Платье ее, шаль и капор были из белой, но, по-видимому, недорогой материи. Она была высокая и худенькая. Во всей ее внешности и поведении не было ни малейшего признака экстравагантности. Вот все, что я мог разглядеть в неясном свете и при ошеломляюще странных обстоятельствах нашей встречи. Я терялся в догадках: кто она и как попала в такой поздний час на эту безлюдную дорогу? Но я был убежден, что ни один человек не истолковал бы в дурную сторону то, что она заговорила с ним, даже принимая во внимание этот подозрительно поздний час и подозрительно пустынное место.

– Вы слышите? – сказала она торопливо и глухо, но без всякого раздражения или беспокойства. – Я спрашиваю: это дорога в Лондон?

– Да, – отвечал я. – Она ведет к Сент-Джонз-Вуд и Ридженс-Парку. Простите, что я не сразу ответил вам: меня изумило ваше внезапное появление. Я все еще никак не могу объяснить себе его.

– Вы не думаете, что я сделала что-то дурное, нет? Я ничего плохого не сделала. Со мной случилось... К несчастью, мне пришлось очутиться здесь одной так поздно... Почему вы подозреваете меня в чем-то дурном?

Она говорила с непонятной серьезностью, встревоженно и даже отступила на несколько шагов.

Я поспешил успокоить ее.

– Прошу вас, не думайте, что я вас в чем-то подозреваю, – сказал я. – У меня нет никаких других намерений, кроме желания помочь вам, если я смогу. Я просто очень удивился при виде вас. Дорога казалась мне совершенно безлюдной еще за минуту до этого.

Она повернулась и указала на пролом в изгороди у перекрестка четырех дорог.

– Я услышала ваши шаги и спряталась, – сказала она, – я хотела посмотреть, что вы за человек, прежде чем заговорить с вами. Мне было страшно, я колебалась, пока вы не прошли мимо. А потом мне пришлось подкрасться сзади и дотронуться до вас.

Подкрасться? Дотронуться? Она могла бы окликнуть меня. Странно...

– Могу ли я довериться вам? – спросила она. – Вы не осуждаете меня за то, что... – Она в замешательстве умолкла, переложив сумочку из одной руки в другую и горько вздохнула.

Одиночество и незащищенность этой женщины тронули меня. Жалость и естественное побуждение помочь ей взяли верх над здравым смыслом, осторожностью и светским тактом, которые, возможно, подсказали бы, как надо поступить при этих странных обстоятельствах человеку более хладнокровному и умудренному житейским опытом.

– Вы можете довериться мне, – сказал я. – Если вам не хочется объяснять, что с вами произошло и почему вы здесь, не объясняйте, не надо. Я не имею права спрашивать вас ни о чем. Скажите, чем я могу помочь вам? Если я смогу, я постараюсь это сделать.

– Вы очень добры, и я вам очень-очень благодарна. – Впервые нотки женственности мягко зазвучали в ее голосе, когда она произносила эти слова. Но в задумчивых и грустных глазах, которые были устремлены на меня, не было слез. – Я была в Лондоне только однажды, – продолжала она быстро, – и я почти ничего не знаю о нем. Можно ли нанять кэб? Или уже слишком поздно? Я не знаю. Если б вы могли проводить меня до кэба и если бы вы только обещали не препятствовать мне, когда я захочу оставить вас, – у меня есть подруга в Лондоне, она будет рада мне. Мне ничего больше не надо. Вы обещаете? – Испуганно озираясь по сторонам, она опять переложив сумочку из одной руки в другую и повторила: – Вы обещаете? – устремив на меня взгляд, полный такой мольбы и отчаяния, что мне стало больно.

Что мне было делать? Передо мной было совершенно незащищенное существо, и этим существом была одинокая женщина. Поблизости ни жилья, ни человека, с которым я мог бы посоветоваться. Я не имел никакого права контролировать ее действия, даже если бы знал, как это сделать. Я пишу эти строки неуверенно – последующие события мрачной тенью ложатся на бумагу, на которой я пишу, и все же я спрашиваю: что мне было делать?

Я сделал следующее: стал расспрашивать ее, чтобы попытаться выиграть время.

Я спросил:

– Вы уверены, что ваша подруга в Лондоне примет вас в такой поздний час?

– Уверена, но только обещайте оставить меня одну, когда я захочу, не останавливать меня, не препятствовать мне. Вы обещаете?

Произнося эти слова, она подошла совсем близко и с мягкой настойчивостью положила мне на грудь свою худую руку. Я отвел ее и почувствовал, что она холодна как лед.

Не забудьте, я был молод, и эта рука была рукой женщины!

– Вы обещаете?

– Да.

Одно слово! Короткое и привычное для каждого слово. Но я и сейчас содрогаюсь, вспоминая его.

Мы направились к Лондону, я и женщина, чье имя, чье прошлое, чье появление были для меня тайной. Казалось, это сон. Я ли это? Та ли это обычная, ничем не примечательная дорога, по которой я ходил столько раз? Правда ли, что только час назад я расстался с моими домашними?

Я был слишком взволнован и потрясен, чтобы разговаривать. Какая-то глухая тоска лежала у меня на сердце.

Снова ее голос первый нарушил молчание.

– Я хочу спросить вас, – вдруг сказала она, – у вас много знакомых в Лондоне?

– Да, много.

– И есть знатные и титулованные? – В ее голосе слышалось какое-то глухое беспокойство.

Я медлил с ответом.

– Есть и такие, – сказал я наконец.

– Много... – Она остановилась и вопросительно посмотрела мне в лицо. – Много среди них баронетов?

Я так удивился, что не мог сразу ответить. В свою очередь, я спросил:

– Почему вы об этом спрашиваете?

– Потому что ради собственного спокойствия я надеюсь, что есть один баронет, с которым вы незнакомы.

– Вы мне его назовете?

– Я не могу, я не смею, я выхожу из себя, когда упоминаю о нем! – Она заговорила громко, гневно, она погрозила кому-то худым кулачком, но вдруг справилась со своим волнением и прибавила уже шепотом: – Скажите мне, с кем из них вы знакомы?

Желая успокоить ее, я назвал три фамилии – двух отцов семейств, чьим дочерям я преподавал, и одного холостяка, который однажды взял меня в плавание на свою яхту, чтобы я делал для него зарисовки.

– Нет, вы не знаете его, – сказала она со вздохом облегчения. – А сами вы – человек знатный, титулованный?

– О нет. Я простой учитель рисования.

Не успел ответ, к которому, пожалуй, примешивалось легкое сожаление, слететь с моих губ, как она схватила меня за руку с поспешностью, столь характерной для всех ее движений.

– Не знатный! Простой человек! – сказала она как бы про себя. – Значит, я могу ему довериться!

Я был больше не в силах сдерживать свое любопытство.

– Наверно, у вас есть серьезные причины жаловаться на некоторых знатных господ, – сказал я. – Боюсь, что баронет, которого вы не хотите назвать, причинил вам много зла. Не из-за него ли вы сейчас здесь, одна, ночью?

– Не спрашивайте меня, не говорите об этом! – отвечала она. – Меня жестоко обидели, мне причинили страшное зло. Но если вы хотите мне добра, идите быстрее и не говорите со мной. Я очень хочу молчать, я очень хочу успокоиться, если только смогу.

Мы поспешно продолжали наш путь и около получаса не произносили ни слова. Время от времени я украдкой смотрел на мою спутницу. Выражение ее лица оставалось по-прежнему хмурым, губы были сжаты. Она вглядывалась вдаль напряженно и в то же время рассеянно.

Показались первые дома, мы миновали предместье и вышли к городской школе. Только тогда лицо ее прояснилось, и она заговорила снова.

– Вы живете в Лондоне? – спросила она.

– Да. – И, думая, что, возможно, она рассчитывает на мою помощь в дальнейшем и что мне следует предупредить ее о моем отъезде, я прибавил: – Но завтра я уезжаю на некоторое время. Я еду в деревню.

– Куда? – спросила она. – На север или на юг?

– На север, в Кумберленд.

– Кумберленд... – Она с нежностью повторила это название. – Я бы тоже хотела поехать туда. Я была когда-то счастлива в Кумберленде.

Я снова попытался поднять завесу, которая разделяла нас.

– Вы, наверно, из прекрасного озерного края? – спросил я.

– Нет, – отвечала она. – Я родилась в Хемпшире, но когда-то я ходила в школу, недолго, в Кумберленде. Озера? Я не помню озер. Но там есть деревня Лиммеридж и имение Лиммеридж. Я бы хотела снова взглянуть на те места.

Теперь был мой черед остановиться. Я замер от удивления. То, что моя странная спутница упомянула имение мистера Фэрли, буквально ошеломило меня.

– Вы слышали чей-то голос? – спросила она испуганно, как только я остановился.

– Нет-нет, но вы назвали Лиммеридж. Я слышал о нем несколько дней назад от людей из Кумберленда.

– Ах, я, конечно, их не знаю... Миссис Фэрли умерла, муж ее тоже. Их дочка, наверно, вышла замуж и уехала. Я не знаю, кто теперь живет в Лиммеридже. Я люблю всю эту семью в память о миссис Фэрли.

Казалось, она хотела еще что-то прибавить, но в это время мы вышли к заставе. Она сжала мою руку и с беспокойством посмотрела на ворота.

– Сторож не видит нас? – спросила она.

Но сторож не выглянул. Никто не видел нас. Никого вокруг не было. Когда показались газовые фонари и дома, тревога ее усилилась.

– Вот и Лондон, – сказала она. – Вы нигде не видите кэба? Я устала. Мне страшно. Я хочу сесть в кэб и уехать.

Я объяснил ей, что, если на пути мы не встретим пустого экипажа, нам надо дойти до стоянки кэбов, и попытался возобновить разговор о Кумберленде. Но бесполезно: ею целиком овладела мысль о возможности спрятаться в кэб и уехать. Ни о чем другом она не могла ни говорить, ни думать.

Мы пошли дальше и вскоре увидели кэб, который остановился неподалеку от нас, на противоположной стороне улицы. Какой-то джентльмен вышел из него и скрылся за садовой калиткой. Я окликнул кучера, и он снова влез на козлы. Нетерпение моей спутницы было столь велико, что она заставила меня перебежать с ней дорогу.

– Сейчас так поздно, – говорила она. – Я тороплюсь только оттого, что так поздно...

– Я не могу подвезти вас, сэр, если вам не в сторону Тотнема, – вежливо сказал кэбмен, когда я открывал дверцу кэба. – Лошадь падает от усталости. Она дотянет только до конюшни.

– Да-да, мне в ту сторону, мне именно в ту сторону, – проговорила она, задыхаясь от нетерпения, и быстро села в кэб.

Удостоверившись, что возница так же трезв, как и вежлив, я все же попросил разрешения проводить ее.

– Нет-нет! – резко отказалась она. – Теперь мне хорошо, теперь я спокойна. Если вы порядочный человек, помните ваше обещание. Пусть кэбмен едет, пока я не остановлю его. Благодарю вас, о, благодарю, благодарю вас!

Я держался за дверцу кареты.

Она схватила мою руку, поцеловала ее и оттолкнула. Кэб тотчас же тронулся в путь. Я пошел дальше по улице со смутным желанием остановить его, сам не знаю зачем, но не решился сделать это, чтобы не встревожить и не испугать ее, наконец окликнул кучера, но слишком тихо, чтобы привлечь его внимание. Стук колес затих в отдалении, кэб растаял среди черных теней, – женщина в белом исчезла.

Прошло около десяти минут. Я продолжал свой путь в каком-то забытьи, сомневаясь в реальности происшедшего, мучась неясным ощущением собственной вины и в то же время не понимая, в чем она. Я шел бесцельно, куда глаза глядят. Мысли мои были в полном смятении, как вдруг я пришел в себя, словно проснувшись, услышав совсем близко, за спиной, стук колес быстро приближавшегося экипажа.

Я остановился в густой тени каких-то деревьев. Неподалеку от меня, на противоположной стороне улицы, тусклый фонарь осветил фигуру полисмена, медленно шагавшего навстречу экипажу.

Открытая коляска с двумя седоками проехала мимо меня.

– Стой! – закричал один из них. – Вот полисмен, спросим его.

Лошади сразу же остановились в нескольких шагах от того места, где я стоял в темноте.

– Полисмен! – крикнул тот же человек. – Не проходила ли тут женщина?

– Какая из себя, сэр?

– Женщина в лиловом платье...

– Нет-нет, – перебил его второй. – Платье лежало на ее постели. Она, наверно, ушла в том, в чем приехала к нам. В белом, полисмен! Женщина в белом.

– Я такой не видел, сэр.

– Если вы или кто другой увидит эту женщину, задержите и доставьте под надежной охраной по этому адресу. Я оплачу все расходы и дам в придачу большое вознаграждение.

Полисмен посмотрел на протянутую карточку:

– Задержать ее, сэр? Что она сделала?

– «Сделала»! Она убежала из сумасшедшего дома. Не забудьте: женщина в белом. Едем!

V

«Она убежала из сумасшедшего дома...»

Я не могу с уверенностью сказать, что это открытие было для меня полной неожиданностью. Кое-какие странные вопросы, заданные мне женщиной в белом после моего вынужденного согласия ни в чем не препятствовать ей, подсказывали, что она либо неуравновешенна, либо только что пережила какое-то тяжелое потрясение. Но мысль о полной потере рассудка, которая обычно возникает у нас при упоминании о сумасшедшем доме, не пришла мне в голову и никак не вязалась с ее обликом. Ни в ее разговоре, ни в ее действиях, с моей точки зрения, не было ничего безумного, и слова, сказанные незнакомцем полисмену, не убеждали меня.

Что же я сделал? Помог ли я скрыться жертве страшного шантажа или выпустил на свободу лондонских просторов большое существо, хотя моим долгом, как и долгом всякого другого человека, было водворить ее обратно в лечебницу. Сердце мое сжималось от этих вопросов, совесть мучила меня, но ничего нельзя было изменить.

Когда я наконец добрался до своей комнаты, мне было не до сна. Через несколько часов я должен был ехать в Кумберленд. Я сел за стол, попробовал сперва читать, потом рисовать, но женщина в белом стояла у меня перед глазами. Не попала ли эта несчастная снова в беду? Это мучило меня больше всего. Затем следовали другие, менее тревожные думы. Где она остановила кэб? Что с ней теперь? Удалось ли ее преследователям нагнать ее и задержать? Или она продолжает свой путь, и наши дороги, такие далекие, должны еще раз скреститься в таинственном будущем?

С облегчением встретил я час отъезда, когда наконец мог запереть за собой дверь и, попрощавшись с Лондоном и лондонскими друзьями, двинулся навстречу новой жизни и новым интересам. Даже вокзальная сутолока, обычно такая утомительная, была мне приятна.

В приписке к письму говорилось, что я должен доехать до Карлайля, а затем пересесть на поезд, идущий по направлению к морю. К несчастью, между Ланкастером и Карлайлем что-то случилось с нашим паровозом, и я опоздал на пересадку. Мне пришлось прождать несколько часов. Было уже около одиннадцати часов вечера, когда я приехал на ближайшую

к Лиммериджу станцию. Тьма была такая, что я с трудом разглядел маленький шарабан, любезно присланный за мной мистером Фэрли.

Кучер был явно обеспокоен моим опозданием, но, по обычаю вышколенных английских слуг, упорно молчал. Мы двинулись почти шагом. Дорога была плохая, и кучеру было трудно ехать по ней в полной темноте. Часа через полтора я наконец услышал, как колеса мягко зашуршали по гравию. Гул морского прибора раздавался совсем неподалеку. Мы проехали одни ворота, потом вторые и остановились перед домом. Меня встретил ливрейный слуга, уже успевший снять свою парадную одежду. Он доложил мне, что господа легли спать, и провел меня в огромную роскошную столовую, где на конце огромного пустынного стола ждал меня одинокий ужин.

Я был слишком измучен, чтобы есть и пить с удовольствием, тем более что слуга прислуживал мне так, как если бы перед ним сидело целое общество, а не я один.

Через четверть часа я встал из-за стола. Слуга провел меня наверх, в нарядную комнату, торжественно произнес:

– Завтрак будет подан в девять часов, – и, удостоверившись, что все в порядке, бесшумно удалился.

«Что мне сегодня приснится? – подумал я, задувая свечу. – Женщина в белом или незнакомые обитатели пышного кумберлендского дома?»

Так странно было засыпать под этим кровом, где я еще никого не знал!

VI

Когда наутро я проснулся и распахнул ставни, передо мной под ярким августовским солнцем радостно искрилось море и далекие берега Шотландии обрамляли горизонт голубой дымкой.

Этот чудесный вид был такой неожиданной переменной после мрачных кирпично-каменных пейзажей Лондона, что я мгновенно почувствовал себя обновленным. Смутное ощущение полной оторванности от прошлого, без всякого ясного представления о будущем овладело мной. Все, что случилось еще так недавно, казалось, произошло много месяцев назад. И то, как маленький Песка объявил мне о своем вмешательстве в мою судьбу; и прощальный вечер с матушкой и сестрой; даже мое загадочное приключение по дороге в Лондон – все это было как будто давным-давно, в совсем другой эпохе моего существования, и, хотя женщина в белом все еще не выходила у меня из головы, ее образ потускнел и отдалился.

За несколько минут до девяти часов я спустился вниз. Молчаливый слуга нашел меня заблудившимся в коридорах нижнего этажа и милостиво показал дорогу в столовую.

Когда он открыл дверь, моим глазам представилась большая, красивая, светлая комната и длинный, нарядно сервированный стол. У дальнего окна, спиной ко мне, стояла женщина. Я был поражен красотой ее фигуры и непринужденной грацией ее позы. Высокая, но не слишком; в меру полная, с гордой головкой на стройных плечах; талия ее, гибкая и тонкая, была совершенством в глазах мужчины, ибо находилась в надлежащем месте и не была изуродована корсетом. Она не слышала, как я вошел, и я несколько минут любовался ею, прежде чем придвинул к себе стул – невинное средство, чтобы привлечь ее внимание. Она быстро обернулась. Врожденное изящество ее движений заставляло меня тем сильнее желать увидеть ее лицо. Она отошла от окна, и я сказал себе: «Она брюнетка». Она прошла несколько шагов, и я сказал себе: «Она молода». Она приблизилась – и, к моему удивлению, я должен был сказать себе: «Да ведь она некрасива!»

Старая, всеми признанная истина, что природа не совершает ошибок, никогда еще не была так решительно опровергнута. Ее лицо обманывало все те ожидания, которые возни-

кали при виде ее восхитительной фигуры. Она была очень смугла, с темным пушком над верхней губой; у нее был большой, энергичный, почти мужской рот; большие пронизательные карие глаза и густые черные, как смоль, волосы, нависшие над низким лбом. Когда она молчала, умное, оживленное, открытое лицо ее было совершенно лишено той женственной мягкости, без которой красота даже самой прекрасной женщины в мире несовершенна. Видеть такое лицо на прелестных плечах, достойных резца скульптора; быть очарованным грацией ее движений и одновременно чувствовать почти неприязнь к мужеподобным чертам этой головы, венчавшей безукоризненно прекрасное тело, было похоже на то странное чувство, которое испытываешь во сне, полном противоречий, разобраться в которых невозможно.

– Мистер Хартрайт? – сказала леди. Ее смуглое лицо озарилось улыбкой и стало сразу мягким и женственным. – Мы вчера уже отчаялись увидеть вас и легли спать в обычное время. Примите мои извинения за эту неучтивость и разрешите представиться: я – одна из ваших учениц. Пожмем друг другу руки. Рано или поздно нам придется сделать это, так почему не сейчас?

Это необычное приветствие было произнесено ясным, звонким, приятным голосом. Она протянула мне руку – большую, но прекрасной формы, просто, без малейшей аффектации, с непринужденностью истинно светской женщины. Мы сели за стол как старые друзья, которым есть что вспомнить и для которых совместный утренний завтрак – самое обычное дело.

– Надеюсь, вы приехали сюда с благим намерением, занимаясь с нами, провести время самым приятным образом? – продолжала она. – Начнем с того, что завтракать вам придется только в моем обществе. Сестра осталась у себя. У нее немного болит голова, и наша старая гувернантка миссис Вэзи поит ее целительным чаем. Мой дядя, мистер Фэрли, никогда не разделяет наших трапез; он вечно болеет и живет по-холостяцки в своих комнатах. Больше в доме никого нет. Гостили недавно две молодые особы, но они вчера уехали в полном отчаянии, и неудивительно: за все время их пребывания, учитывая немощь мистера Фэрли, мы не представили им ни одного танцующего, флиртующего, разговорчивого существа мужского пола; по этой причине мы все четверо то и дело ссорились, особенно во время обеда. Разве четыре женщины могут не ссориться, когда они каждый день обедают вместе? Мы бестолковы и не умеем занимать друг друга за столом. Как видите, я не очень высокого мнения о женщинах, мистер Хартрайт... Вам чаю или кофе?.. Все женщины невысокого мнения о себе подобных, только не все сознаются в этом так откровенно, как я. Господи, вы как будто в недоумении! Почему? Еще не решили, что будете есть? Или удивляетесь моему небрежному тону? В первом случае – я дружески советую вам не трогать ветчину, а ждать омлета. Во втором случае – я налью вам чаю, чтобы вы успокоились, и постараюсь придержать язык. Это весьма нелегко для женщины.

Весело смеясь, она протянула мне чашку чаю. Легкий поток ее слов и оживленная манера обращения с человеком ей незнакомым сочетались с такой простотой и вместе с тем органической уверенностью в себе и своем положении, что любой самый дерзкий человек проникся бы к ней уважением. В ее присутствии было невозможно вести себя чопорно и официально, но также немыслима была малейшая вольность по отношению к ней не только на словах, но и в мыслях. Я инстинктивно почувствовал это, хотя и заразился ее веселостью, и отвечал ей в таком же естественном, простом тоне.

– Да, да, – сказала она, когда я постарался объяснить ей мое замешательство, – я понимаю, конечно: вам, человеку, еще совершенно незнакомому с нашим домом, очень странно, что я так запросто рассказываю о его достопочтенных обитателях. С вашей стороны это только естественно. Я должна была догадаться об этом. Во всяком случае, я сейчас постараюсь отвести каждому подобающее место. Начнем с меня. Вкратце: меня зовут Мэриан

Голкомб, и я неточна, как все женщины, называя мистера Фэрли моим дядей, а его племянницу – моей сестрой. Это не совсем так. Моя мать была замужем дважды: первый раз – за мистером Голкомбом, моим отцом, второй раз – за мистером Фэрли, отцом моей сводной сестры. Мы обе сироты, но в остальном мы абсолютно не похожи друг на друга. Мой отец был беден, отец мисс Фэрли – богат. У меня за душой ни гроша, а у нее – большое состояние. Я – некрасивая брюнетка, она – прелестная блондинка. Все считают меня (и вполне справедливо) своенравной и упрямой, а ее (что еще более справедливо) кроткой и очаровательной. Словом, она ангел, а я... Попробуйте этого варенья, мистер Хартрайт, и dokonчите про себя мою фразу. Что сказать о мистере Фэрли? Право, не знаю. Он придет за вами после завтрака, и вы сами его увидите. Я скажу вам только, что, во-первых, он младший брат покойного мистера Фэрли, во-вторых, он холостяк и, в-третьих, опекун мисс Фэрли. Я не могу жить без нее, а она – без меня. Вот почему я в Лиммеридже. Мы с сестрой искренне привязаны друг к другу, хотя это и может показаться вам непонятным после того, что я рассказывала вам. Но это так. Вам придется или нравиться нам обоим, или не нравиться ни одной из нас и, что еще утомительнее, довольствоваться только нашим обществом. Миссис Вэзи – воплощенная добродетель, но она в счет не идет, а мистер Фэрли – слишком больной человек, чтобы быть приятной компанией для кого бы то ни было. Я не знаю, чем он болен, доктор – тоже, да и сам он не знает, но мы все говорим: нервы, не понимая, что это значит. Однако я советую вам считаться с его капризами, когда вы с ним познакомитесь. Восхищайтесь его коллекциями древних монет, гравюр, рисунков, акварелей, и вы завоюете его сердце. Право, если вам по душе тихая сельская жизнь, я уверена, что вам будет хорошо здесь. Утром вы будете приводить в порядок коллекции мистера Фэрли, днем мы с мисс Фэрли возьмем наши альбомы для рисования и пойдем воспроизводить природу под вашим руководством. Рисование – ее любимое занятие, не мое. Что касается вечернего времяпрепровождения, думаю, мы вам поможем не скучать: мисс Фэрли прекрасная музыкантша, а я хоть и не могу спеть ни одной ноты, но постою за себя в картах, за шахматами и даже за бильярдным столом. Что вы думаете об этой программе? Можете ли вы примириться с нашим спокойным и размеренным образом жизни или вас будет грызть жажда перемен и приключений и тихий Лиммеридж покажется вам скучным?

Она говорила в грациозно-шутливой манере, я поддакивал ей, когда этого требовала вежливость. Но случайное слово «приключение», так легко слетевшее с ее уст, вернуло меня к мысли о женщине в белом. Я решил найти разгадку той необъяснимой связи, которая, очевидно, существовала между безвестной беглянкой из сумасшедшего дома и покойной владелицей Лиммериджа.

– Даже если бы я был самым беспокойным из смертных, – сказал я, – я не стал бы жаждать приключений еще некоторое время. Накануне отъезда со мной было странное происшествие, и уверяю вас, мисс Голкомб, мне надолго хватит воспоминаний о нем.

– Да что вы говорите, мистер Хартрайт? Вы мне расскажете?

– Вы имеете на это полное право. Дело в том, что главное действующее лицо этого странного приключения – молодая женщина, совершенно мне незнакомая, как, вероятно, и вам, упомянула имя покойной миссис Фэрли в выражениях самых почтительных и преисполненных искренней благодарности.

– Имя моей матери? Вы меня чрезвычайно заинтересовали! Продолжайте, прошу вас.

Я рассказал об обстоятельствах моей ночной встречи с женщиной в белом и слово в слово повторил все, что та сказала о миссис Фэрли и Лиммеридже. Мисс Голкомб не спускала с меня внимательных и умных глаз. Лицо ее выражало самый живой интерес, но не более. Она, очевидно, была так же далека от разгадки этой тайны, как я сам.

– Вы уверены, что она говорила именно о моей матери? – спросила она.

– Уверен. Кем бы она ни была, она когда-то училась в сельской школе в Лиммеридже. По-видимому, миссис Фэрли была очень добра и внимательна к ней. И в благодарность она питает глубокий интерес и привязанность ко всем членам семьи Фэрли. Она знала, что миссис Фэрли и ее супруг скончались, и она говорила о мисс Фэрли так, как если бы они были знакомы с детства.

– Вы, кажется, сказали, что она не из этих мест?

– Она говорила, что она из Хемпшира.

– И вам не удалось выяснить, кто она?

– Не удалось.

– Очень странно. Думаю, что вы правильно поступили, мистер Хартрайт, оставив ее на свободе. Ведь она не сделала в вашем присутствии ничего подозрительного. Но мне жаль, что вы недостаточно решительно постарались выяснить ее имя. Мы должны обязательно разгадать эту тайну. Но лучше не говорите об этом ни мистеру Фэрли, ни моей сестре. Я уверена, что они, так же как и я, совершенно не знают, кто она и какое отношение она имела к нашей семье в прошлом. В то же время оба они совершенно по-разному, но в одинаковой мере нервны и впечатлительны, и вы только рассердите одного и обеспокоите другую понапрасну. Что касается меня – я сгораю от любопытства и посвящу всю свою энергию выяснению этой загадки. Когда моя мать вышла замуж за мистера Фэрли-старшего и приехала в Лиммеридж, она открыла в здешней деревне сельскую школу. Эта школа существует и поныне. Но старые учителя или умерли, или уехали. С этой стороны нам никто не поможет. Единственное, что мне приходит в голову...

На этом наш разговор был прерван появлением слуги, который объявил, что мистер Фэрли будет рад видеть меня после завтрака.

– Подождите в холле, – ответила ему за меня мисс Голкомб своим ясным и решительным голосом. – Мистер Хартрайт сейчас придет... Я как раз хотела сказать, – продолжала она, – что у нас с сестрой осталось много писем нашей покойной матери. Не имея другой возможности получить нужные нам сведения, я займусь перепиской моей матери с мистером Фэрли. Он любил жить в Лондоне и часто отлучался из дому. Моя мать привыкла подробно рассказывать ему в письмах обо всем, что делается в Лиммеридже. Она часто писала ему о школе, которой уделяла много времени. Думаю, что, прежде чем мы с вами снова увидимся, я кое-что разужнаю... Второй завтрак в два часа, мистер Хартрайт. Я буду иметь честь представить вас своей сестре, и мы вместе поедем кататься: покажем вам наши любимые места. Итак, до двух. Прощайте.

Она кивнула с очаровательной грацией и подкупающим дружелюбием, которым дышало все, что она делала и говорила, и исчезла за дверью в глубине комнаты. Я вышел в холл и, следуя за слугой, направился к мистеру Фэрли, готовясь к встрече с ним.

VII

Мой провожатый провел меня наверх, в коридор, по которому мы пришли снова к моей спальне. Войдя в нее, он открыл дверь в другую комнату и попросил меня заглянуть туда.

– Мне приказано показать вам вашу гостиную, – сказал он, – и спросить, по вкусу ли вам ее убранство и освещение.

Я был бы чересчур привередлив, если бы эта прелестная комната не понравилась мне. Из большого окна открывался тот же радостный вид, которым я любовался утром из спальни. Мебель была дорогая и красивая. На столе посреди комнаты лежали книги в веселых переплетах, стояли прелестные цветы и изящный письменный прибор. Второй стол, у окна, был завален необходимыми принадлежностями для рисования и окантовки акварелей мистера Фэрли. К столу был приделан маленький мольберт, который я мог складывать или расстав-

лять по усмотрению. Стены были обтянуты пестрым кретоном, пол устлан плетеными итальянскими циновками. Это была самая нарядная и уютная гостиная, которую я когда-либо видел, и я откровенно высказал свое восхищение.

Но слуга был слишком хорошо вышколен, чтобы в ответ на мои восторженные восклицания обнаружить малейшие признаки удовлетворения. С ледяной сдержанностью он поклонился и молча распахнул передо мной двери.

Мы снова вышли в коридор, завернули за угол, спустились на несколько ступенек, прошли небольшой холл и остановились перед обитой войлоком дверью. Слуга открыл ее, затем вторую, бесшумно распахнул две тяжелые портьеры из бледно-зеленого шелка, тихо проговорил: «Мистер Хартрайт» и оставил меня одного.

Я очутился в огромной роскошной комнате с прекрасным лепным потолком. На полу лежал такой пушистый, мягкий ковер, что мои ноги утонули в нем. Вдоль одной из стен тянулся книжный шкаф из какого-то редчайшего дерева, с инкрустациями. Он был невысок, и на нем были симметрично расставлены мраморные бюсты. У противоположной стены стояли две старинные горки, вверху, между ними, висела картина под стеклом – «Мадонна с младенцем»; на позолоченной табличке, прикрепленной к раме, было выгравировано имя Рафаэля. Справа и слева от меня стояли шифоньеры и небольшие столики мозаичной работы, отделанные бронзой, переполненные дрезденским фарфором, изделиями из слоновой кости, дорогими вазами и всевозможными редкостными безделушками. Все это сверкало серебром, золотом и драгоценными камнями. В глубине комнаты на окнах были занавеси из того же бледно-зеленого шелка, что и на дверях. Поэтому свет в комнате был очаровательно мягкий, рассеянный, неясный, он упоительно подчеркивал глубокую тишину и атмосферу полного уединения, царившую здесь, и окружал непроницаемым покоем хозяина дома, устало сидевшего в огромном мягком кресле. К одной ручке кресла был приделан маленький столик, к другой – подставка для книг.

Если по наружности человека, перешагнувшего за сорок и тщательно совершившего туалет, можно судить о его возрасте (в чем я сильно сомневаюсь), то мистеру Фэрли на вид было за пятьдесят. У него было выбритое, тонкое, усталое лицо, бледное до прозрачности, но без единой морщинки; крупный нос с горбинкой, большие бесцветные серые глаза навыкате, с покрасневшими веками, волосы редкие, мягкие, того рыжеватого оттенка, в котором так долго незаметна седина. На нем был черный сюртук из какой-то мягкой материи, жилет и панталоны сияли безукоризненной белизной. Он был в светлых чулках, и его маленькие, как у женщины, ножки были обуты в туфельки из лаковой кожи под бронзу. Два перстня такой баснословной ценности, что даже мой неискушенный взгляд понял это, украшали его тонкие, изнеженные пальцы. Весь он выглядел чересчур хрупким, капризным, томно-нервическим и сверхтонченным, что неприятно и неестественно в мужчине, да и в женщине было бы отнюдь не привлекательно. Утренняя встреча с мисс Голкомб заранее расположила меня ко всем обитателям дома, но при виде мистера Фэрли мои симпатии мгновенно испарились.

Подойдя поближе, я увидел, что он не бездельничает, как мне показалось, а чем-то занят. Подле него на большом столе среди других редких и красивых вещей находился маленький шкафчик черного дерева, отделанный серебром. В его ящичках, обитых темно-красным бархатом, лежали древние монеты разной величины и формы. Один из этих ящичков с монетами стоял на приделанном к его креслу столике, тут же лежали замшевые полировальные подушечки, кисточки и пузырек с жидкостью. Все они ожидали своей очереди, чтобы чистить и полировать древние монеты. В хрупких пальцах он небрежно вертел нечто похожее, с моей точки зрения профана, на грязную оловянную медаль с рваными краями. Я остановился на почтительном расстоянии от его кресла и отвесил поклон.

– Счастлив, что вы в Лиммеридже, мистер Хартрайт, – сказал он капризным, каркающим голосом, в вялую безжизненность которого иногда неприятно врывались высокие,

почти визгливые нотки. – Сядьте, прошу вас. Только, пожалуйста, не двигайте ваше кресло. Мои бедные нервы в таком состоянии, что всякое постороннее движение – источник неопи-суемых страданий для меня. Вы видели вашу студию? Ну как?

– Я только что видел, мистер Фэрли, и уверяю вас...

Его умоляющий жест прервал меня на полуслове. Я удивленно осекся. Капризный голос соблаговолил прокаркать:

– Прошу простить меня, но, ради бога, не могли бы вы постараться говорить потише? Мои бедные нервы в таком состоянии, что я невыносимо страдаю от каждого звука. Не посетуйте на бедного инвалида. Мне приходится говорить то же самое каждому посетителю. Да. Итак, вам в самом деле нравится ваша комната?

– Я не представляю себе ничего более уютного и удобного, – отвечал я, понижая голос и начиная понимать, что нервы мистера Фэрли и его капризы – это одно и то же.

– Я так рад! Вы можете быть уверены, мистер Харттрайт, что в этом доме художники пользуются должным уважением. Здесь вам не придется сталкиваться с обычным варварским отношением англичан к служителям искусства. В юности я столько лет провел за границей, что сбросил с себя покров предрассудков. Мне хотелось бы сказать то же самое о моих соседях-аристократах – отвратительное слово, но, полагаю, мне придется употребить его, – об аристократах, живущих по соседству. В вопросах искусства это неисправимые варвары, мистер Харттрайт. Они вытаращили бы глаза при виде Карла Пятого¹, подающего кисти Тициану. Не откажите поставить этот поднос с монетами вон в тот шкафчик и подайте мне другой. Мои бедные нервы в таком состоянии, что любое усилие причиняет мне неслыханные страдания... Да. Благодарю вас.

Как иллюстрация к теории равенства, только что им провозглашенной, хладнокровное приказание мистера Фэрли очень позабавило меня. Я поставил поднос в шкаф и почтительно подал ему другой. Он начал перебирать монеты, чистить их маленькими замшевыми подушечками, возиться с ними и томно любоваться на них, продолжая в то же время разговаривать со мной.

– Тысяча благодарностей и тысяча извинений. Вы любите древние монеты?... Да? Я счастлив, что наши вкусы совпадают еще в одном, помимо вопросов искусства. Кстати, коснемся житейского: вы довольны вашими условиями?

– Вполне, мистер Фэрли.

– Я так рад. Что еще? Да, вспомнил. Относительно моих забот о вашем благополучии, которые вы благосклонно согласились принять за то, что предоставляете мне право пользоваться вашими достижениями в области искусства. Мой камердинер зайдет к вам в конце недели, чтобы узнать, нет ли каких приказаний. И – что еще? Странно, не правда ли? Мне надо было еще многое сказать, но я, кажется, все забыл. Не дернете ли вы шнурок? В том углу... Да. Благодарю.

Я позвонил, и слуга с прилизанными волосами, которого я видел впервые, неслышно появился в комнате, подобострастно улыбаясь, – лакей с головы до пят.

– Луи, – сказал мистер Фэрли, полируя свои ногти одной из замшевых подушечек, предназначенных для чистки монет, – сегодня утром я кое-что записал на моих табличках. Найдите их. Тысяча извинений, мистер Харттрайт. Боюсь, что я вам наскучил. – Он устало закрыл глаза, прежде чем я смог что-либо ответить.

Он и вправду наскучил мне, и я молча смотрел на мадонну Рафаэля.

¹ Карл V – испанский король, а затем и император «Священной Германской империи», в состав которой входили почти все европейские государства XVI века. Современник великого венецианского художника Тициана.

Лакей вышел из комнаты и вернулся с книжечкой в переплете из слоновой кости. Мистер Фэрли с легким вздохом очнулся, взял книжечку и мановением пальца велел лакею ждать дальнейших приказаний.

– Да. Именно так! – сказал мистер Фэрли, посоветовавшись с табличками. – Луи, подайте эту папку. – Он указал на папки, лежащие на полке у одного из окон. – Нет, не ту. Не с зеленым корешком! В ней гравюры Рембрандта, мистер Хартрайт. Вы любите гравюры?.. Рад, что у нас одинаковые вкусы... Папку с красным корешком, Луи. Не уроните ее!.. Вы не можете вообразить, какие муки я претерпел бы, мистер Хартрайт, если бы Луи уронил эту папку! Она не упадет со стула? Вы считаете, что она не упадет? Да? Я счастлив. Сделайте одолжение, посмотрите эти рисунки, если вы в самом деле считаете, что они в безопасности... Луи, уходите. Вы осел! Вы же видите, что я держу таблички! Долго ли я должен их еще держать? Почему вы не берете их у меня из рук?.. Тысячу извинений, мистер Хартрайт. Слуги – такие ослы, не правда ли?.. Как вам нравятся эти рисунки? Они прибыли в ужасном состоянии – мне показалось, что от них пахнет руками этих лавочников, торговцев картинами... Можете ли вы ими заняться?

Хотя нервы мои были недостаточно чувствительны, чтобы уловить запах рук каких-то плебеев, вкус мой был достаточно развит: я увидел перед собой прекраснейшие рисунки и акварели; по большей части это были великолепные образцы английской школы, и они, конечно, заслуживали более внимательного отношения со стороны их бывших хозяев.

– Их следует привести в порядок. По-моему, они очень ценны... – начал я.

– Простите, – перебил мистер Фэрли. – Вы не возражаете, если я закрою глаза, пока вы будете говорить? Даже этот свет ярок для меня. Да?

– Я хотел сказать, что рисунки заслуживают...

Мистер Фэрли вдруг открыл глаза и закатил их под лоб в невыразимой муке.

– Умоляю простить меня, мистер Хартрайт, – слабо прокаркал он, – но мне послышались голоса каких-то ужасных детей в саду – в моем саду! Под окнами...

– Я ничего не слышу, мистер Фэрли.

– Сделайте одолжение – вы так снисходительны к моим бедным нервам, мистер Хартрайт, – сделайте одолжение, приподымите – чуть-чуть! – уголок этой занавески... Только, ради бога, чтобы солнце не упало на меня... Выгляните в сад...

Я исполнил его просьбу. Сад был окружен глухой стеной. В нем не было ни единой души. Я оповестил об этом радостном факте мистера Фэрли.

– Тысяча благодарностей. Моя фантазия, вероятно. В доме, хвала создателю, нет никаких детей, но слуги (эти люди рождаются без нервов!) иногда поощряют деревенских. Дети – какое отродье! О боже, какое отродье! Признаться ли вам, мистер Хартрайт, я так хотел бы усовершенствовать их конструкцию! Природа создала их, как специальные механизмы для издавания криков, но наш очаровательный Рафаэль представлял их себе в тысячу раз привлекательнее, не так ли?

Он указал на картину, в верхнем углу которой были изображены традиционные головки херувимов итальянской школы, – курчавые облака служили им удобной опорой для подбородков.

– Вот идеал! – сказал мистер Фэрли, ослабившись на херувимов. – Такие милые розовые личики! Такие милые нежные крылышки – и ничего больше! Ни грязных ног для беготни, ни крикливых глоток для воплей. Какое бесконечное превосходство мечты над реальностью!.. Я опять закрою глаза, если позволите. Так вы вправду займетесь рисунками? Я так рад! О чем мы хотели еще поговорить? Я забыл. Не позвоните ли вы Луи?

К этому времени я так же страстно желал закончить наше свидание, как, по-видимому, и мистер Фэрли. Я решил обойтись без помощи лакея.

– Единственное, о чем я хотел спросить вас, мистер Фэрли, – сказал я, – касается моих уроков с молодыми леди.

– Вот именно, – сказал мистер Фэрли. – Я хотел бы иметь достаточно сил, чтобы разобратся в этом. Но у меня нет сил. Пусть молодые леди, которые будут пользоваться вашими любезными услугами, сами решают... Да! Моя племянница очень любит ваше очаровательное искусство. И знает о нем достаточно, чтобы понимать, насколько она в нем слаба. Пожалуйста, займитесь этим. Мы поняли друг друга, не так ли? Я не смею отрывать вас дальше от ваших прелестных занятий. Так приятно договориться обо всем, покончить со всем житейским! Не откажите позвонить Луи, чтобы он отнес папку в ваши комнаты.

– Я отнесу ее сам, мистер Фэрли, если позволите.

– В самом деле? У вас хватит сил? Как приятно быть таким сильным! Вы уверены, что не уроните ее? Счастлив, что вы в Лиммеридже, мистер Хартрайт. Я такой мученик, что вряд ли смогу часто наслаждаться вашим обществом. Вы постараетесь, уходя, не очень хлопнуть дверью и не уронить папку? Благодарю вас. Осторожнее с портьерами – малейший шум вонзается в мои бедные нервы, как нож. Всего лучшего.

Когда портьеры бесшумно раздвинулись и двери неслышно закрылись за мной, я на мгновение остановился в маленьком холле, и глубокий вздох облегчения вырвался из моей груди. Покинув мистера Фэрли, я как будто вынырнул на поверхность, пробыв долгое время в холодной зеленой тине.

Усевшись за работу в моей веселой студии, я первым делом решил как можно реже показываться в апартаментах хозяина дома, разве только в тех исключительных случаях, когда он сам меня пригласит. Покончив с этим вопросом, я снова обрел душевное равновесие, нарушенное высокомерной развязностью и наглой учтивостью мистера Фэрли. Остаток утра прошел спокойно и приятно за работой: я просматривал рисунки, раскладывал их, обрезал обтрепанные края и приготавливал их для окантовки. Но чем дальше, тем нетерпеливее ждал я двух часов. Мне не сиделось на месте, я не мог сосредоточиться, работа моя не клеилась, хотя и была весьма несложной.

Ровно в два я, немного волнуясь, спустился в столовую. Возвращение в эту комнату сулило мне много неожиданностей. Я должен был познакомиться с мисс Фэрли и, что было еще интереснее, если розыски мисс Голкомб в семейных архивах увенчались успехом, разгадать тайну женщины в белом.

VIII

Когда я вошел в столовую, мисс Голкомб уже сидела за столом в обществе какой-то пожилой дамы.

Эта дама, с которой меня познакомили, была миссис Вэзи, старая гувернантка мисс Фэрли. Ее-то и назвала утром моя сотрапезница «воплощением добродетели», заметив, однако, при этом, что миссис Вэзи «не идет в счет». Я могу только подтвердить, что мисс Голкомб совершенно правильно определила характер почтенной старушки. Миссис Вэзи олицетворяла человеческое спокойствие и женскую приветливость. В ленивой, сонной улыбке, сквозившей на ее полном кротком лице, проглядывала простодушная удовлетворенность своим безмятежным существованием. Иные из нас мчатся сквозь жизнь, иные прогуливаются по ней, – миссис Вэзи провела всю жизнь сидя. С утра до вечера она сидела: в доме, в саду, у окна, во всяких неожиданных местах, на раскладном стульчике, когда друзья пробовали уговорить ее прогуляться; она садилась, чтобы поглядеть на что-нибудь, чтобы поговорить о чем-нибудь, чтобы произнести простейшие «да» или «нет» в ответ на самые обыденные вопросы. Ее всегда видели с той же мирной улыбкой на устах, с тем же рассеяннo-внимательным взглядом, в той же удобной и чинной позе – всегда и при всех обстоя-

тельствах, какими бы они ни были. Благодушная, мягкая, невыразимо спокойная старушка, которая, казалось, так и не жила с той самой минуты, как родилась. У природы столько дел в этом мире, ей приходится создавать такую массу разнообразнейших творений, что, возможно, по временам она и сама не в силах разобраться во всей этой путанице. Исходя из этого, я лично навсегда останусь при мнении, что, когда миссис Вэзи родилась, мать-природа была всецело поглощена сотворением капусты, и бедная леди стала жертвой сельских занятий праматери всего сущего.

– Ну, миссис Вэзи, – сказала мисс Голкомб, особенно оживленная, остроумная и блестящая по сравнению с тихой старушкой, которая сидела с ней рядом, – что вы хотите – котлетку?

Миссис Вэзи положила свои полные ручки в ямочках на стол, кротко улыбнулась и сказала:

– Да, дорогая.

– А что перед мистером Хартрайтом? Цыпленок? Вы, кажется, больше любите цыплят, миссис Вэзи?

Миссис Вэзи сняла ручки со стола, положила их на колени, созерцательно посмотрела на вареного цыпленка и сказала:

– Да, дорогая.

– Чего же вам все-таки хочется? Чтобы мистер Хартрайт передал вам цыпленка или я – котлету?

Миссис Вэзи снова положила одну из своих ручек на край стола, задумалась и сказала:

– Что хотите, дорогая.

– Господи, ну что вам больше по вкусу? Может быть, положить вам кусочек и того и другого? Или вы начнете с цыпленка, тем более что мистер Хартрайт, по-видимому, жаждет отрезать для вас крылышко?

Миссис Вэзи положила вторую ручку на стол, чуть-чуть оживилась, потом погасла, послушно кивнула и сказала:

– Пожалуйста, сэр.

Не правда ли, это была благодушная, кроткая, невыразимо спокойная и безобидная старушка? Но, может быть, на сегодня довольно о миссис Вэзи?

В продолжение всего этого времени не было и признаков появления мисс Фэрли. Мы покончили с завтраком, но она все еще не приходила. От быстрых глаз мисс Голкомб ничто не могло укрыться. Она заметила взгляды, которые я украдкой бросал на дверь.

– Я понимаю вас, мистер Хартрайт, – сказала она, – вам хотелось бы знать, где ваша вторая ученица. Головная боль у нее прошла, но аппетита нет. С моей помощью вы найдете ее в саду.

Взяв зонтик, лежащий подле нее на стуле, она направилась в сад через большую стеклянную дверь, открывавшуюся прямо на лужайку перед домом. Само собой разумеется, миссис Вэзи осталась сидеть за столом в прежней удобной позе, очевидно намереваясь просидеть так весь день.

Когда мы пересекли лужайку, мисс Голкомб значительно посмотрела на меня и покачала головой.

– Ваше таинственное приключение все еще окутано непроницаемым мраком, как ему и полагается, – сказала она. – Все утро я просматривала письма, но ничего еще не нашла. Однако не отчаивайтесь, мистер Хартрайт. Это дело любопытное, а в союзниках у вас женщина, поэтому рано или поздно успех обеспечен. Письма еще не все прочитаны, остались три связки, и вы можете положиться на меня – я потрачу на них весь вечер.

«Мои утренние ожидания не оправдались. Будет ли знакомство с мисс Фэрли таким же разочарованием?» – подумал я.

– Как вам понравился мистер Фэрли? – спросила мисс Голкомб, когда мы пошли по аллее. – Он очень нервничал сегодня? Не трудитесь отвечать, мистер Хартрайт: достаточно того, что вы замялись. По вашему лицу мне ясно, что сегодня он особенно нервничал. Чтоб вы сами не нервничали, я больше ни о чем не спрошу вас.

Свернув на узкую дорожку, мы вышли к красивому деревянному домику в швейцарском стиле, поднялись по ступенькам и очутились в комнате. Молодая девушка стояла у простого некрашеного стола, глядя вдаль на расстилавшуюся за деревьями равнину, поросшую вереском, и задумчиво перелистывала маленький альбом. Это была мисс Фэрли.

Как описать ее? Как передать то первое впечатление независимо от собственных переживаний и от всего того, что произошло в дальнейшем? Могу ли я снова увидеть ее такой, какой увидел ее впервые, для того чтобы те, кто читает эти страницы, увидели ее вместе со мной?

Портрет Лоры Фэрли в той же позе и в той же комнате, написанный мною акварелью некоторое время спустя после нашей первой встречи, лежит сейчас на моем письменном столе. Я пишу и смотрю на него. Передо мной на коричнево-зеленом фоне летнего домика отчетливо возникает светлый юный образ. Она в простом белом кисейном платье в голубую полоску. Бледно-голубой шарф из той же материи ласково и воздушно обвивает ее плечи. Маленькая соломенная шляпка, скромно отделанная лентой в цвет платья, бросает прозрачную легкую тень на ее лоб. Ее волосы очень светлого каштанового оттенка – не льняные, но воздушные; не золотые, но блестящие, – и кажется, будто они тают в воздухе, сливаясь с тенью от ее шляпы. Они разделены на прямой пробор и мягкими прядями обрамляют ее лицо. Брови чуть темнее волос, а глаза того кристально-прозрачного бирюзового цвета, который так часто воспевают поэты и который так редко встречается в жизни. Прекрасен цвет, прекрасен разрез этих глаз – больших, задумчивых, нежных, – но прекраснее всего глубокая правдивость, сияющая в них неподдельно и неизменно, как отражение Лучшего Мира. Пленительное очарование, которое они так мягко и так непреодолимо излучают, преображает ее лицо, скрывая все его недостатки; поэтому трудно говорить о достоинствах его отдельных черт. Не замечаешь, что подбородок несколько слабо развит; что нос (отнюдь не орлиный – таковой неизбежно придает женскому лицу злой и хищный вид, как бы красив он ни был) маловат и не отличается идеальной правильностью; что нежные, мягкие губы с приподнятыми уголками иногда нервно подергиваются, когда она улыбается. Все эти недостатки, возможно, были бы заметны на другом женском лице, но тут их не видишь, все сливается в одно целое – живое, прелестное, выразительное, присущее только ей одной. Так велика непреодолимая сила очарования ее глаз.

Передал ли все это мой бедный портрет, написанный с такой любовью и старанием в те безмятежные, счастливые дни?.. О, как мертво все на рисунке и как живо в моей памяти! Светловолосая хрупкая девушка в легком платье, голубоглазая и невинная, с альбомом в руках – вот и все, что можно увидеть на портрете; вот, может быть, и все, что можно передать словами. Женщина, впервые давшая жизнь, свет и форму нашему туманному представлению о красоте, заполнит в нашей душе пустоту, о которой мы и не подозревали до появления ее. Наша душа откликнется в такую минуту на очарование, несравненно более глубокое, чем то, которое постигается разумом и может быть выражено в словах. Когда обаяние женской красоты проникает в самые глубины нашего сердца, оно становится невыразимым, ибо переходит ту грань, за которой перо уже не властно.

Подумайте о ней, как вы думали о той, что впервые задела в вас струны, молчавшие при других женщинах. Пусть ясные, чистые голубые глаза встретятся с вашими, как они встретились с моими в том первом, неповторимом взгляде, который мы оба запомнили навсегда. Пусть голос ее звучит, как музыка, в ваших ушах, – так же сладостно, как звучал в моих. Пусть шаги ее, когда она появляется на этих страницах и уходит с них, напомнят вам те,

воздушные, на которые отзывалось ваше сердце. Представьте ее себе как воплощение вашей самой несбыточной мечты, и тогда вы увидите ту, что живет в моем сердце.

Среди вихря ощущений, поднявшихся во мне при виде ее, – ощущений, знакомых всем нам, внезапно пробуждающихся к жизни в глубине наших сердец, так часто умирающих и так редко рождающихся заново, – одно, почти мучительное, отзывалось во мне тупой, неясной болью. Оно тревожило и мучило меня, казалось таким неоправданным, было так не к месту в присутствии мисс Фэрли.

К яркому впечатлению, которое произвели на меня ее красота, ее обаяние, простота и скромность ее манер, примешивалось другое чувство, смутно мешавшее мне. То мне казалось, что причина кроется в ней, то я обвинял в этой раздвоенности самого себя, но что-то мешало мне воспринимать ее цельно, как следовало бы. Ощущение это усиливалось, когда она смотрела на меня; иными словами, именно тогда, когда красота ее была перед моими глазами, я был смущен чувством какой-то неудовлетворенности. Я не понимал, в чем дело, не мог определить этого ощущения. Чего-то не хватало, а чего именно – я не знал.

Эта странная «игра воображения» (так думал я тогда) не способствовала моей непринужденности в первые минуты знакомства с мисс Фэрли. На ее милое приветствие я ничем не сумел ответить. Заметив мое смущение и, очевидно, объяснив его моей застенчивостью, мисс Голкомб легко и находчиво, как всегда, взяла нить разговора в свои руки.

– Посмотрите, мистер Хартрайт, – сказала она, показывая на альбом и на маленькую ручку, перебиравшую его листы. – Согласитесь, наконец вы нашли примерную ученицу. Узнав, что вы приехали, она хватает свой бесценный альбом, смотрит прямо в лицо божественной природе и жаждет начать уроки!

Мисс Фэрли засмеялась так весело, словно солнечный луч озарил ее лицо.

– Я не стою этих похвал, – возразила она, глядя своими ясными, правдивыми глазами то на мисс Голкомб, то на меня. – Как ни люблю я рисовать, я всегда сознаю, что рисую плохо, и скорее боюсь, чем жажду уроков. Узнав, что вы здесь, мистер Хартрайт, я стала просматривать свои рисунки, как когда-то, девочкой, я просматривала школьные уроки в страхе, что получу за них плохую отметку.

Она призналась в этом очень просто и с детской серьезностью прижала к себе свой альбом.

– Плохие или хорошие, рисунки все равно должны предстать на суд учителя, и дело с концом, – сказала решительно мисс Голкомб. – Давайте возьмем их с собой в коляску, Лора. Пусть мистер Хартрайт впервые увидит их, когда мы будем трястись на ухабах. Если только мы сумеем помешать ему во время прогулки увидеть природу такой, какая она есть – когда он будет смотреть вокруг себя, и такой, какой она не бывает – когда заглянет в наши альбомы, – мы принудим его наговорить нам с отчаяния массу комплиментов, и павлиньи перышки нашего самолюбия не помнутся.

– Я надеюсь, что мистер Хартрайт не будет говорить мне комплиментов, – сказала мисс Фэрли, когда мы вышли из домика.

– Смею спросить: почему? – сказал я.

– Потому что я поверю всему, что вы мне скажете, – просто ответила она.

Этими безыскусственными словами она дала мне ключ к своему характеру. Доверие к людям было отражением ее собственной полной правдивости. Тогда я угадал это сердцем. Теперь я знаю это по опыту.

Миссис Вэзи все еще сидела за опустевшим обеденным столом, когда мы весело подняли ее с места, чтобы пересадить в открытую коляску и вместе ехать на обещанную прогулку. Пожилая леди и мисс Голкомб сели на заднее сиденье, а мисс Фэрли и я устроились против них. Альбом, конечно, был доверен моему опытному глазу, но серьезный разговор о рисунках был немислим при мисс Голкомб, которая откровенно высмеивала всякое жен-

ское искусство, в том числе свое и своей сестры. Мне гораздо больше запомнился наш разговор, особенно когда в беседе принимала участие мисс Фэрли, чем рисунки, которые я машинально просматривал. Все, что связано с ней, я помню так живо, как будто это было вчера.

Да! Признаюсь, что с первого же дня, очарованный ею, я позволил себе забыться, я забыл свое положение. Самый простой ее вопрос: «Как держать карандаш? Как смешивать краски?», малейшая перемена в выражении ее глаз, устремленных на меня с таким серьезным желанием научиться всему, чему я мог научить, и постичь все, что я мог показать, приковывало к себе мое внимание несравненно сильнее, чем самые красивые места, мимо которых мы проезжали, или игра света и тени над волнистой равниной и пологими берегами моря. Не странно ли, что все окружающее так мало на нас влияет, когда мы всецело поглощены какой-то думой? Только в книгах, но не в действительности, мы ищем утешения на лоне природы, когда мы в горе, или созвучия в ней, когда мы счастливы. Восторги перед ее красотами, так подробно и красноречиво воспеты в стихах современных поэтов, не отвечают необходимой жизненной потребности даже лучших из нас. Детьми мы их не замечали. Те, кто проводит жизнь среди многообразных чудес моря и суши, обычно нечувствительны к явлениям природы, не имеющим прямого отношения к их призванию в жизни. Наша способность воспринимать красоту окружающего нас мира является, по правде сказать, частью нашей общей культуры. Мы часто познаем эту красоту только через искусство. И то – только в те минуты, когда мы ничем другим не заняты и ничто другое нас не отвлекает. Все, что может постичь наша мысль, все, что может познать наша душа, не зависит от красоты или уродства мира, в котором мы живем. Возможно, причина отсутствия связи между человеком и вселенной кроется в огромной разнице между судьбой человека и судьбой природы. Высочайшие горы исчезнут во мраке времен, малейшее движение чистой человеческой души – бессмертно.

После трехчасовой прогулки наша коляска снова проехала через ворота лиммериджского дома.

На обратном пути я предоставил дамам выбрать пейзаж, который они должны были рисовать под моим наблюдением на следующий день. Когда они удалились, чтобы переодеться к обеду, и я остался один в своей комнате, мне стало вдруг почему-то не по себе. Я чувствовал смутное недовольство самим собой, не понимая, в чем его причина. Потому ли, что на прогулке я держал себя скорее как гость, чем как учитель; потому ли, что в меня снова вселилось то странное чувство, которое встревожило и огорчило меня при первом знакомстве с мисс Фэрли. Во всяком случае, я почувствовал облегчение, когда настал обеденный час и я мог присоединиться к обществу хозяек дома.

Первое, что мне бросилось в глаза, когда я вошел в столовую, была разница в туалетах трех дам. В то время как миссис Вэзи и мисс Голкомб были роскошно одеты (каждая в манере, присущей ее возрасту) – первая в серебряно-сером, вторая в светло-палевом платье, которое очень шло к ее смуглому лицу и черным волосам, – мисс Фэрли была в очень скромном платье из белого муслина. Оно было снежно-белым и очень шло к ней, но это простенькое платье могла бы носить и жена или дочь бедного человека. Ее гувернантка была одета гораздо богаче, чем она сама. Позднее, когда я поближе узнал мисс Фэрли, я понял, что это была своего рода деликатность, боязнь хотя бы в одежде подчеркнуть свое богатство. Ни миссис Вэзи, ни мисс Голкомб никогда не могли ее уговорить одеваться наряднее и роскошнее, чем они.

Покончив с обедом, мы все вместе вернулись в большую гостиную. Несмотря на то что мистер Фэрли (очевидно, в память могущественного короля, самолично подававшего кисти Тициану) приказал дворецкому узнать, какие вина я предпочитаю после обеда, я решительно отказался от искушения посидеть в великолепном одиночестве за бутылками собственного

выбора и испросил у дам разрешения на время моего пребывания в Лиммеридже покидать обеденный стол всегда вместе с ними по благородному обычаю иностранцев.

Гостиная, в которую мы перешли, такая же большая, как и столовая, была на нижнем этаже. В глубине комнаты широкие стеклянные двери открывались на террасу, всю уставленную цветами и всевозможными растениями. В мягком сумрачном свете листья и цветы сливались в одно гармоническое целое, и сладкое благоухание вечера приветствовало нас через открытую дверь. Миссис Вэзи неизменно садилась первая – она завладела креслом в углу и сразу же уютно задремала. Мисс Фэрли по моей просьбе села за рояль, я – подле нее, а мисс Голкомб – у окна, чтобы, пользуясь последними спокойными лучами догорающего заката, просмотреть письма своей матери.

Как живо встает перед моим мысленным взором мирный домашний уют этой гостиной, в то время как я пишу! Оттуда, где я сидел, мне была видна грациозная фигура мисс Голкомб. Наполовину освещенная мягким вечерним светом, наполовину в тени, мисс Голкомб внимательно просматривала письма, лежавшие у нее на коленях. Прелестный профиль той, что сидела за роялем, тонко выделялся на темнеющем фоне стены. На террасе цветы, декоративные травы и ползучие растения еле качались в вечернем воздухе, – так тихо, что их шороха не было слышно. Небо было безоблачным, и таинственный лунный свет уже начал разливаться по его восточному краю. Мир и уединение смягчали все мысли и чувства, сливаясь в упоительной гармонии; отрадная тишина, все более глубокая, по мере того как сгущались сумерки, окружала нас, когда зазвучала полная нежности музыка Моцарта. Это был вечер незабываемых впечатлений и звуков.

Мы сидели в молчании. Миссис Вэзи спала. Мисс Фэрли играла, мисс Голкомб читала, пока не погас последний луч вечерней зари. К этому времени луна уже всходила над террасой, и ее бледные таинственные лучи заливали глубину комнаты. Переход от сумерек к лунному свету был так прекрасен, что, когда слуга принес свечи, мы не зажгли их, оставшись, по взаимному согласию, в темноте, – только на рояле горели две свечи.

Мисс Фэрли играла еще около получаса, а потом вышла на озаренную луной террасу, чтобы полюбоваться садом. Я последовал за ней. Мисс Голкомб пересела к роялю, поближе к свече, чтобы продолжать чтение. Она была так погружена в письма, что, казалось, и не заметила, как мы вышли.

Мы пробыли на террасе не больше пяти минут – мисс Фэрли, по моему совету, повязала голову белой косыночкой, опасаясь свежей ночной прохлады, – как вдруг я услышал изменившийся голос мисс Голкомб. Она тихо и настойчиво звала меня:

– Мистер Хартрайт, подите сюда на минуту, я хочу поговорить с вами.

Я вернулся в комнату. В глубине гостиной, у стены, стоял рояль. Подле него, с той стороны, которая была дальше от террасы, сидела мисс Голкомб. На коленях у нее в беспорядке лежали письма, одно из них она держала у свечи. Я сел напротив нее на низенькую кушетку: отсюда я ясно различал фигуру мисс Фэрли, ходившей по террасе в мягком свете луны.

– Я хочу, чтобы вы прослушали конец этого письма, – сказала мисс Голкомб. – Вы скажете мне, проливает ли это свет на ваше странное приключение по дороге в Лондон. Это письмо моей матери к ее второму мужу, мистеру Фэрли. В нем говорится о том, что произошло лет двенадцать назад. К тому времени мистер и миссис Фэрли с моей сводной сестрой Лорой уже много лет жили в этом доме. Меня тогда не было с ними, я заканчивала свое образование в Париже.

Она говорила очень серьезно и, казалось, была в затруднении. В эту минуту мисс Фэрли показалась в глубине террасы, посмотрела на нас и, увидев, что мы заняты, пошла дальше.

Мисс Голкомб начала читать:

– «Вам, дорогой Филипп, наверно, уже надоело постоянно слушать о моей школе и ее учениках. Вините в этом скучное однообразие нашей жизни в Лиммеридже, но не меня. К тому же на сей раз я напишу вам кое-что интересное по поводу одной из наших школьниц.

Вы знаете старую миссис Кемп, нашу деревенскую лавочницу. Она много лет болела, а сейчас день за днем угасает. Ее сестра, единственная ее родственница, приехала на той неделе, чтобы побыть с ней до ее кончины. Сестру зовут миссис Катерик. Она из Хемпшира. Четыре дня назад она пришла ко мне и привела с собой своего единственного ребенка – прелестную девочку, которая всего на год старше нашей дорогой Лоры...»

Не успела эта фраза замереть на устах читавшей, как мисс Фэрли снова прошла мимо двери, тихо напевая одну из мелодий, которые только что играла.

Мисс Голкомб подождала, пока она скрылась из виду, а затем продолжала:

– «Миссис Катерик, по-видимому, вполне порядочная, воспитанная и почтенная женщина средних лет. В молодости она, наверно, была недурна собой. Есть, однако, что-то в ее манерах и наружности, чего я не понимаю. Она до такой степени ничего о себе не рассказывает, что это граничит с таинственностью. И на лице у нее выражение – не умею описать его, – будто у нее что-то на уме. Вообще это какая-то ходячая тайна. Ко мне она явилась, однако, по очень простому поводу: когда она уезжала из Хемпшира, ей пришлось взять с собой дочь, так как ребенка не с кем было оставить. Неизвестно, когда умрет миссис Кемп, через неделю или через несколько месяцев, поэтому миссис Катерик пришла спросить меня, можно ли ее девочке посещать пока нашу школу с условием, что после кончины миссис Кемп девочка вернется с матерью в Хемпшир. Конечно, я сразу же дала свое согласие, и, когда мы с Лорой пошли на нашу обычную прогулку, мы взяли с собой эту девочку (ей всего одиннадцать лет) и отвели ее в школу...»

Снова силуэт мисс Фэрли – такой очаровательной и нежной в белом, как снег, платье, в косынке, которую она подвязала под подбородком, – скользнул в лунном луче. Мисс Голкомб подождала, пока она скроется, и продолжала:

– «Я очень привязалась к нашей новой ученице, особенно по причине, о которой упомяну только в конце письма, чтобы сделать вам сюрприз. О дочери мать рассказала так же мало, как и о себе. Я сама поняла (это выяснилось на первых же уроках), что умственное развитие бедняжки недостаточно для ее лет. Я взяла ее к нам домой на следующий день и попросила доктора понаблюдать за ней и поговорить с ней, а потом сказать свое мнение. Он нашел, что ум девочки разовьется с годами и что занятия в школе ей чрезвычайно полезны, потому что, хотя она и запоминает уроки очень медленно, но зато крепко и надолго. Ну вот, дорогой мой, не думайте, что я привязалась к какой-то дурочке. Нет, бедная маленькая Анна Катерик очень ласковое, любящее, благодарное дитя. Она говорит иногда очень своеобразные и милые вещи, но как-то странно, внезапно и все время как будто боится чего-то. Несмотря на то что она всегда очень чистенькая, одета она безвкусно. Поэтому я решила, что белые Лорины платьица и шляпки можно переделать для Анны, и сказала ей, что маленьким девочкам с хорошим цветом лица очень идет белое. Сначала она растерялась, а потом вся вспыхнула и поняла. Ее маленькие ручки схватили мою руку. Она поцеловала ее, Филипп, и воскликнула (так серьезно!): «Всю жизнь я буду ходить только в белом, в память о вас, мэм, и мне будет казаться, что я все еще нравлюсь вам, даже когда я уеду и вас больше не увижу». Вот образец тех оригинальных мыслей, которые она высказывает так мило. Бедная малютка! Я подарю ей много платьиц, с запасом, и она сможет удлинять их, когда из них вырастет».

Мисс Голкомб замолчала и посмотрела на меня.

– Как вы думаете, сколько лет той несчастной, которую вы встретили на большой дороге? – спросила она. – Может ли ей быть около двадцати двух?

– Да, мисс Голкомб.

– И она была с головы до ног одета в белое?

– Да, она была вся в белом.

Как раз в эту минуту мисс Фэрли оказалась на террасе в третий раз, но, вместо того чтобы пройти дальше, она облокотилась на перила, спиной к нам, и стала смотреть на темный сад. Я смотрел на мерцание ее воздушного белого платья и белой косынки в лунных лучах, и ощущение, которому нет названия, начало вкрадываться в мое сердце.

– Вся в белом? – повторила мисс Голкомб. – Сейчас я прочитаю вам конец – то есть самое главное. Но мне хочется немного помедлить... Какое странное совпадение: белое платье женщины, которую вы встретили, и белое платьице, которое вызвало тот странный ответ маленькой школьницы. Доктор, наверное, ошибся, предполагая, что умственная отсталость пройдет у девочки с возрастом. Может быть, она так и осталась недоразвитой и ее странное ребяческое желание носить только белое не изменилось, когда она стала взрослой?

Я что-то ответил, что – я и сам не знаю. Все мое внимание было приковано к белому платью мисс Фэрли.

– Выслушайте последнюю фразу, – сказала мисс Голкомб. – Думаю, она удивит вас.

В ту минуту, когда она поднесла письмо к свече, мисс Фэрли повернулась лицом к нам, нерешительно посмотрела вокруг, подошла к стеклянной двери и остановилась, глядя на нас.

Мисс Голкомб читала:

– «А теперь, любовь моя, заканчивая свое письмо, я скажу о причине, настоящей, главной причине моей привязанности к Анне Катерик. Дорогой Филипп, хотя она и наполовину не так хороша, но по необъяснимому капризу случая, как это порой бывает, у нее те же волосы, глаза, овал лица – одним словом, она вылитая...»

Я вскочил с кушетки прежде, чем мисс Голкомб закончила фразу, меня охватил ледяной ужас, как и тогда ночью на безлюдной дороге, когда кто-то внезапно прикоснулся к моему плечу.

Передо мной стояла мисс Фэрли, одинокая белая фигура в бледном лунном свете, – воплощение женщины в белом: та же поза, тот же поворот головы, тот же овал лица! Мучившее меня подозрение мгновенно превратилось в уверенность. Я понял, чего мне не хватало раньше: я не отдавал себе отчета в роковом сходстве беглянки из сумасшедшего дома с моей ученицей в Лиммеридже.

– Вы увидели, что они похожи! – воскликнула мисс Голкомб. Письмо выпало у нее из рук, и глаза ее блеснули, встретившись с моими. – Они и сейчас похожи, как одиннадцать лет назад!

– Вижу, и мне невыразимо тяжело... Как будто случайное сходство той жалкой, одинокой, несчастной женщины с мисс Фэрли зловещей тенью омрачает будущее прелестного невинного существа, которое сейчас глядит на нас. Скорей освободите меня от этого ощущения! Позовите ее сюда – из этого мертвенного лунного света, умоляю, позовите ее сюда!

– Вы удивляете меня, мистер Хартрайт. Это позволительно женщинам, и я считала, что мужчины в девятнадцатом веке уже не суеверны.

– Позовите ее сюда!

– Ш-ш!.. Она сама идет к нам. Ничего не говорите при ней. Сохраним в тайне обнаруженное нами сходство, пусть это будет нашим секретом... Идите к нам, Лора, и разбудите миссис Вэзи музыкой. Мистер Хартрайт просит еще музыки, на этот раз ему хочется послушать что-нибудь особенно веселое, живое!

IX

Так закончился мой первый, полный событий день в Лиммеридже.

Мисс Голкомб и я хранили наш секрет, но, кроме неоспоримого факта, что мисс Фэрли и Анна Катерик похожи друг на друга, ни один новый луч не осветил тайну женщины в

белом. При первой же возможности мисс Голкомб осторожно завела со своей сестрой разговор о матери, о прошлых днях и об Анне Катерик. Однако воспоминания мисс Фэрли о маленькой школьнице были очень смутными и туманными. Она помнила о своем сходстве с любимицей матери, но как о чем-то давно прошедшем. Она не упоминала ни о подаренных белых платьях, ни о странных словах, в которых девочка так безыскусственно выразила свою благодарность миссис Фэрли. Она помнила, что Анна пробыла в Лиммеридже всего несколько месяцев, а затем вернулась домой, в Хемпшир.

Чтение остальных писем тоже не дало никаких результатов. Мы установили, что та, кого я встретил тогда ночью, была Анной Катерик; мы предположили, что ее белую одежду можно объяснить ее некоторой умственной отсталостью и не угасающей с годами благодарностью к миссис Фэрли, и на этом – как мы тогда думали – наше расследование кончилось.

Время шло, и золотые предвестники осени уже прокладывали себе дорогу сквозь летнюю зелень деревьев. Мирные, мимолетные, блаженные дни! Мой рассказ скользит по ним так же быстро, как проскользнули они. Какие из сокровищ, которыми они так щедро меня дарили, остались со мной, чтобы я мог перечислить их на этих страницах? От них ничего не осталось, кроме самого печального признания, какое только может сделать человек: признания в своем безрассудстве.

Это признание нетрудно сделать, ибо моя сердечная тайна, наверно, стала уже явной. Моя слабая, неудачная попытка описать мисс Фэрли, конечно, уже выдала меня. Так бывает со всеми нами. Наши слова – великаны, когда они во вред нам, и карлики, когда мы ждем от них пользы.

Я любил ее.

О, как хорошо знакома мне та скорбь и та горечь, которыми полны эти три слова! Я могу вздохнуть над моим печальным признанием вместе с самой сострадательной из женщин, читающей эти слова и сожалеющей обо мне. Я могу засмеяться над ними так же горько, как и самый черствый мужчина, который отнесется к ним с презрением. Я любил ее! Сочувствуйте мне или презирайте меня, но я признаюсь в этом, твердо решив сказать всю правду.

Что могло оправдать меня? До некоторой степени те обстоятельства, в которых протекала моя жизнь в Лиммеридже.

Утренние часы я проводил в тихом уединении моих комнат. Работы над реставрацией рисунков моего хозяина у меня было достаточно, для того чтобы руки и глаза мои были заняты, но зато мой разум мог свободно предаваться опасным излишествам своего необузданного воображения. Губительное одиночество – ибо оно длилось достаточно долго, чтобы лишить меня силы воли, и недостаточно долго, чтобы укрепить эту силу. Губительное одиночество – ибо сразу после него в течение многих недель, днем и вечером, я находился в обществе двух женщин, из которых одна обладала большими познаниями, блестящим остроумием, безупречной светскостью, а другая – обаянием красоты, мягкости и правдивости, которые очищают и покоряют сердце мужчины. Ни один день не проходил без опасной близости учителя с ученицей. Так часто рука моя была подле ее руки, щека моя, когда мы наклонялись над альбомом, почти касалась ее щеки! Чем внимательнее следила она за движением моей кисти, тем ближе ко мне был запах ее волос и теплый аромат ее дыхания. Лучистый взор ее очей останавливался на мне во время наших занятий, и порой мне приходилось сидеть так близко от нее, что я дрожал при мысли о прикосновении к ней; порой она так низко наклонялась посмотреть мой рисунок, что голос ее невольно затихал, когда она обращалась ко мне, и ленты ее шляпы, колеблемые ветром, задевали мое лицо прежде, чем она успевала отвести их.

Наши вечера скорее разнообразили эту близость, чем препятствовали ей. Моя любовь к музыке, которую она исполняла так прелестно, так тонко, и ее непритворная радость оттого, что она может доставить мне своей игрой на рояле удовольствие, какое я доставлял ей своим

рисованием, еще крепче завязывали узы, соединившие нас. Случайные слова в разговоре, простота нравов, которая разрешала наше соседство за обеденным столом, блеск остроумия мисс Голкомб, подшучивавшей над усердием учителя и рвением ученицы, даже кроткое одобрение на лице миссис Вэзи, выдающей в мисс Фэрли и во мне идеал молодых людей, потому что мы ей никогда не мешали, – все эти и многие другие пустяки сближали нас в непринужденной домашней обстановке и вели нас обоих к одному безнадежному концу.

Я был обязан помнить свое зависимое положение и не давать воли своим чувствам. Я так и сделал, но было уже слишком поздно. Благоразумие и опытность, помогавшие мне устоять против чар других женщин и хранившие меня от других искушений, покинули меня. По роду моей профессии мне приходилось в прошлом часто соприкасаться с молодыми девушками, которые иногда бывали очень красивы. Моя работа была моим правом на место в жизни. Я умел оставлять симпатии, понятные в мои годы, в передних моих хозяев так же хладнокровно, как оставлял внизу зонтик, чтобы пройти наверх. Я давно привык с полным равнодушием относиться к тому, что мое положение учителя рисования считалось достаточной гарантией для того, чтобы какая-либо из моих учениц не почувствовала ко мне нечто большее, чем простой интерес. Я был допущен в общество молодых и привлекательных женщин так же, как допускалось к ним какое-либо безвредное домашнее животное. Я рано научился благоразумию, оно сурово и строго вело меня вперед по моему скудному жизненному пути, не позволяя мне сбиваться с него. А теперь я впервые забыл о нем. Да, с таким трудом давшееся мне умение держать себя в руках и быть равнодушным совершенно оставило меня, как будто никогда его и не было. Я потерял его так же безвозвратно, как это подчас бывает и с другими мужчинами, когда дело касается женщин. Мне следовало быть начеку с самого первого дня. Я должен был задуматься над тем, почему комната, в которую она входила, казалась мне родным домом, а когда уходила, та же комната становилась пустынной и чужой. Почему я сразу же замечал малейшую перемену в ее туалете, чего никогда не замечал у других женщин, – почему я смотрел на нее, слушал ее, касался ее руки, когда мы здоровались утром и прощались на ночь, с чувством, какого никогда до тех пор ни к кому не испытывал. Мне следовало заглянуть в свое сердце, распознать это новое, непонятное, зарождающееся чувство и вырвать его с корнем, пока еще не было поздно. Почему это было немислимо? Почему я был не в силах сделать это? Я уже ответил в трех словах, со всей простотой и ясностью: я любил ее.

Шли дни и недели, третий месяц моего пребывания в Кумберленде подходил к концу. Блаженная, однообразная, спокойная, уединенная жизнь наша текла, как река, и несла меня на своих волнах. Память прошлого, мысли о будущем, сознание безнадежного и непрочного моего положения – все это молчало во мне. Убаюканный упоительной песней своего сердца, не видя и не сознавая опасности, мне грозившей, я несся все ближе и ближе к роковому концу. Безмолвное предостережение, заставившее меня очнуться и осознать свою непростибельную слабость, исходило от нее самой и потому было непререкаемо правдивым и милостивым.

Однажды вечером мы расстались, как обычно. Никогда за все это время ни одного слова о моем чувстве к ней не слетело с моих губ, никогда ничем я ее не потревожил. Но на завтра, когда мы встретились, она сама была другая со мной, она изменилась ко мне – и благодаря этому я все понял.

Мне и сейчас трудно открыть перед всеми святая святых ее сердца, как я открыл свое. Скажу только, что в ту минуту, когда она поняла мою сердечную тайну, она поняла и свою. За одну ночь ее отношение ко мне изменилось. Она была слишком благородна и искренна по своей натуре, чтобы обманывать других и самое себя. Когда смутная догадка, которую я старался усыпить, впервые коснулась ее сердца, ее правдивое лицо выдало все и сказало мне открыто и просто: «Мне жаль вас, мне жаль себя».

Глаза ее говорили и еще что-то, чего я тогда никак не мог понять. Но я понимал, почему с этого дня она, при других приветливая и внимательная ко мне, как только мы оставались одни, хваталась за первое попавшееся занятие, становилась грустной и озабоченной. Я понимал, почему нежные губы перестали улыбаться, а ясные голубые глаза глядели на меня то с ангельским состраданием, то с недоумением ребенка. Но было в ней и что-то еще, чего я не понимал. Рука ее бывала холодна как лед, лицо застывало в неестественной неподвижности, во всех ее движениях сквозил какой-то безотчетный страх и страдальческое смущение, но вызвано это было не тем, что мы осознали нашу взаимную любовь. Она изменилась, и это каким-то образом сблизило нас, но в то же время что-то уведило нас все дальше и дальше друг от друга, неизвестно почему.

Мучась сомнениями, чувствуя за всем этим нечто скрытое, я начал искать возможного объяснения в поведении, манерах, выражении лица мисс Голкомб. Живя в постоянной близости, мы не могли не чувствовать и не уметь различать того, что происходит в душе каждого из нас. Перемена, происшедшая в Лоре, отразилась и на ее сестре. Хотя мисс Голкомб ни единым словом не дала мне понять, что ее отношение ко мне изменилось, пронизательные глаза ее теперь все время следили за мной. Иногда во взгляде ее мелькал затаенный гнев, иногда что-то похожее на страх, а иногда нечто такое, чего я опять-таки не понимал.

Прошла неделя, и мы все чувствовали себя напряженно, неловко. Мое положение, отягченное сознанием своей слабости и непозволительной дерзости, слишком поздно мною осознанными, становилось невыносимым. Я чувствовал, что должен раз и навсегда сбросить с себя томительный гнет, который мешал мне жить и дышать свободно, но с чего начать или что сначала сказать, я не знал.

Из этого унижительного, беспомощного положения меня вызволила мисс Голкомб. Она сказала мне необходимую, неожиданную правду; ее сердечность поддержала меня, когда я услышал эту горькую правду; в дальнейшем ее трезвый ум и мужество помогли исправить страшную ошибку, грозившую непоправимым несчастьем каждому из нас в Лиммеридже.

Х

Это произошло в четверг, в конце моего трехмесячного пребывания в Кумберленде.

Утром, спустившись вниз к завтраку, я впервые не застал мисс Голкомб на ее обычном месте за столом.

Мисс Фэрли была на лужайке перед домом. Она поклонилась мне, но не вошла в столовую. Хотя ни один из нас не сказал другому ничего такого, что могло бы его смутить, все же нас разделяло какое-то странное смущение, и мы избегали оставаться наедине. Она ждала на лужайке, а я в столовой, пока не придут миссис Вэзи или мисс Голкомб. Еще две недели назад как охотно мы пожали бы друг другу руки и заговорили о всякой всячине!

Через несколько минут вошла мисс Голкомб. У нее был озабоченный вид, и она рассеянно извинилась за свое опоздание.

– Меня задержал мистер Фэрли, – сказала она. – Он хотел посоветоваться со мной по поводу некоторых домашних дел.

Мисс Фэрли пришла из сада, и мы поздоровались. Рука ее была холоднее, чем обычно. Она не подняла на меня глаз и была очень бледна. Даже миссис Вэзи заметила это, когда через несколько минут вошла в столовую.

– Это, наверно, оттого, что ветер переменялся, – сказала старая дама. – Скоро наступит зима, да, душа моя, скоро наступит зима!

Для нас с ней зима уже наступила!

Наш утренний завтрак, всегда проходивший в оживленных разговорах о том, что мы будем делать в течение дня, на этот раз прошел в молчании. Мисс Фэрли, казалось, чувство-

вала неловкость этих длинных пауз и умоляюще поглядывала на сестру. Мисс Голкомб наконец не выдержала и сказала:

– Я видела твоего дядю сегодня утром, Лора. Он считает, что следует приготовить красную комнату, и подтверждает то, о чем я тебе уже говорила. Это будет в понедельник – не во вторник.

При этих словах мисс Фэрли опустила глаза. Пальцы ее стали беспокойно перебирать хлебные крошки на скатерти. Не только щеки – даже губы ее побелели и задрожали. Не я один увидел это. Мисс Голкомб тоже заметила волнение своей сестры и решительно встала из-за стола.

Миссис Вэзи и мисс Фэрли вместе вышли из комнаты. Ласковые, грустные голубые глаза на мгновение остановились на мне в предчувствии наступающей длительной разлуки. Сердце мое сжалось в ответ. Я понял, что мне суждено скоро потерять ее и что любовь моя только окрепнет в разлуке.

Когда дверь за ней закрылась, я направился в сад. Мисс Голкомб стояла со шляпой в руке у большого окна, открывающегося на лужайку, и внимательно смотрела на меня.

– Есть у вас свободное время, – спросила она, – прежде чем вы пойдете к себе работать?

– Конечно, мисс Голкомб, мое время к вашим услугам.

– Я хочу кое-что сказать вам наедине, мистер Хартрайт. Возьмите вашу шляпу и пойдете в сад. Там нас никто не потревожит в этот ранний час.

Когда мы спустились на лужайку, один из помощников садовника, совсем молодой парень, прошел мимо нас к дому с письмом в руке. Мисс Голкомб остановила его.

– Это письмо ко мне? – спросила она.

– Нет, мисс, мне велено передать его мисс Фэрли, – ответил парень, протягивая ей письмо.

Мисс Голкомб взяла письмо и посмотрела на адрес.

– Незнакомый почерк, – сказала она. – Кто может писать Лоре?.. Где вы взяли это письмо? – продолжала она, обращаясь к садовнику.

– А мне дала его одна женщина, – отвечал тот.

– Что за женщина?

– Такая старая женщина, мисс.

– Вот как! Старая женщина... А вы ее знаете?

– Не могу сказать, чтобы знал ее, мисс. Она мне совершенно незнакома.

– В какую сторону она ушла?

– Туда, – отвечал помощник садовника, широким жестом руки охватывая всю южную сторону Англии.

– Любопытно! – сказала мисс Голкомб. – Наверно, какая-нибудь просьба о помощи... Возьмите, – прибавила она, протягивая ему письмо. – Отнесите в дом и отдайте кому-нибудь из слуг. А теперь, мистер Хартрайт, если вы не возражаете, пойдете дальше.

Она повела меня той же дорожкой, по которой я следовал за ней в первый день моего пребывания в Лиммеридже. Мы шли молча. У маленького домика, где Лора Фэрли и я впервые увидели друг друга, мисс Голкомб остановилась и сказала:

– То, что я хочу сказать вам, я скажу здесь.

С этими словами она вошла в домик, села за стол и указала мне на стул возле себя. Еще утром в столовой, когда она заговорила со мной, я начал догадываться – а теперь твердо знал, – о чем будет речь.

– Мистер Хартрайт, – сказала мисс Голкомб, – я начну с искреннего признания. Я скажу без фраз – я их ненавижу – и без комплиментов – я их презираю, – что за время вашего пребывания у нас я начала чувствовать к вам искреннюю дружбу и уважение. Вы с самого начала расположили меня к себе вашим отношением к той несчастной женщине, которую

вы встретили при таких необычных обстоятельствах. Может быть, ваше поведение в данном случае нельзя назвать осмотрительным, но оно говорит о чуткости и доброте человека, которого можно назвать джентльменом в полном смысле слова. Я ждала от вас только хорошего, и вы не обманули этих ожиданий.

Она умолкла, но жестом дала мне понять, что еще не все сказала. Когда я вошел с нею в домик, я не думал о женщине в белом, но слова мисс Голкомб напомнили мне о моем приключении. Мысль о нем уже не покидала меня в продолжение всего разговора, который закончился совершенно неожиданно...

– Как друг ваш, – продолжала мисс Голкомб, – скажу вам откровенно и напрямик – я поняла вашу сердечную тайну сама, без всякой помощи, без намека со стороны кого бы то ни было. Мистер Хартрайт, вы безрассудно разрешили себе полюбить – боюсь, что глубоко и серьезно, – мою сестру Лору. Я не буду мучить вас, заставляя исповедоваться. Я вижу и знаю, что вы слишком честный человек, чтобы отрицать это. Я не виню вас, но скорблю, что в сердце ваше вкралась любовь, обреченная на безнадежность. Правда, вы не делали никаких попыток говорить об этом моей сестре. Вы виноваты только в слабости и в том, что не умеете блюсти собственные интересы, больше ни в чем. Если б вы хоть раз поступили менее сдержанно и скромно, я бы приказала вам оставить наш дом немедленно и без предупреждений, я бы ни с кем не стала советоваться. Но в данном случае я виню только ваш возраст и ваше положение – не вас лично. Дайте руку, я причинила вам боль и сделаю еще больнее, но этому помочь нельзя. Дайте сначала руку вашему другу Мэриан Голкомб.

Я был тронут до глубины души этой неожиданной добротой, теплой, благородной, этим бесстрашным дружелюбием, обращенным ко мне, как к равному. Они зывали прямо к моему сердцу, чести, мужеству. Я хотел взглянуть на нее, но глаза мои были влажны, я хотел поблагодарить ее, но голос изменил мне.

– Выслушайте меня, – сказала она, умышленно не замечая моего волнения, – выслушайте, и покончим с этим. Я чувствую истинное облегчение, что могу не касаться вопроса о социальном неравенстве (несправедливого и тягостного, как я считаю) – в связи с тем, о чем я вам сейчас должна сказать. Обстоятельства, которые заденут вас за живое, шадят меня, избавляя от жестокой необходимости причинять лишнюю боль человеку, жившему в тесной дружбе под одной крышей со мной, напоминанием об унижительном значении знатности и положения в обществе. Вы должны покинуть Лиммеридж, мистер Хартрайт, пока еще не поздно. Мой долг сказать вам это. Моим долгом было бы сказать вам то же самое – в силу одной серьезной причины, – даже если бы вы принадлежали к самой древней и богатой фамилии в Англии. Вы должны оставить нас не потому, что вы учитель рисования... – Она помолчала с минуту, посмотрела мне прямо в лицо и твердо положила свою руку на мою. – Не потому, что вы учитель рисования, – повторила она, – но потому, что Лора Фэрли помолвлена и выходит замуж.

Эти последние слова, как выстрел, пронзили мне сердце. Рука моя перестала чувствовать пожатие ее руки. Я молчал, я не шевелился. Резкий осенний ветер, круживший мертвые листья у наших ног, вдруг дохнул на меня ледяным дыханием, будто безумные надежды мои были тоже мертвыми листьями, уносимыми ветром. Надежды! Помолвленная или нет – все равно она была недостижима для меня. Вспомнили бы об этом другие на моем месте? Нет, если б они любили, как я.

Удар обрушился, и не осталось ничего, кроме тупой, сковывающей боли. Мисс Голкомб снова сжала мою руку. Я поднял голову и взглянул на нее. Ее большие черные глаза были прикованы к моему лицу, они заметили, как я был бледен, я чувствовал это.

– Покончите с этим! – сказала она. – Здесь, где вы впервые ее увидели, покончите с этим! Не малодушничайте, как женщина. Вы должны вырвать это из сердца, как мужчина!

Сдержанная страсть, звучащая в ее словах, сила ее воли, повелительный взгляд, устремленный на меня, заставили меня очнуться. Через минуту я мог оправдать ее веру в мое мужество. Я, по крайней мере внешне, овладел собой.

– Вы пришли в себя?

– Да, мисс Голкомб, достаточно, чтобы просить прощения у нее и у вас; достаточно для того, чтобы последовать вашему совету и хоть этим доказать мою благодарность за ваше предостережение.

– Вы уже доказали ее своим ответом, – произнесла она. – Мистер Харттрайт, нам нечего больше скрывать друг от друга. Я не утаю от вас, что моя сестра, сама того не сознавая, выдала себя. Вы должны покинуть нас ради нее, не только ради себя. Ваше присутствие здесь, ваша вынужденная близость – безобидная, видит бог, во всех отношениях – мучит и тревожит ее. Я, которая любит ее больше жизни, я, которая научилась верить в это чистое, благородное, невинное сердце, как я верю в бога, слишком хорошо знаю, что тайные угрызения терзают ее, с тех пор как, вопреки ей самой, первая тень неверности по отношению к предстоящему браку закралась в ее сердце. Я не говорю – было бы бесполезно говорить это после всего случившегося, – что эта помолвка когда-либо сильно затрагивала ее чувство. Эта помолвка – дело чести, а не любви. Отец на смертном одре два года назад благословил ее на этот брак. Сама она ни обрадовалась, ни отказалась – она просто дала свое согласие. До вашего приезда она была в таком же положении, как и сотни других женщин, которые выйдут замуж не по сердечной привязанности и учатся любить (или ненавидеть) мужа уже после свадьбы, а не до нее. Я не могу выразить, как глубоко я надеюсь – так же как и вы должны самоотверженно надеяться, – что новое чувство, нарушившее ее прежние спокойствие и безмятежность, не пустило еще в ее сердце таких глубоких корней, которые нельзя уже будет вырвать. Ваше отсутствие (если бы я не была непоколебимо уверена в вашей чести, мужестве и здравом смысле, я бы не доверилась вам, как доверяю сейчас), ваше отсутствие поможет моим стараниям, а время поможет нам троим. Отрадно знать, что не напрасно я с самого начала почувствовала к вам доверие, отрадно знать, что и на этот раз вы будете таким же честным, мужественным и великодушным к вашей ученице, в отношении которой вы имели несчастье забыть, каким вы были к той незнакомой и отверженной, которая обратилась к вам за помощью.

Опять женщина в белом! Разве нельзя было, говоря о мисс Фэрли и обо мне, не воскрешать памяти об Анне Катерик и не ставить ее между нами, как роковое предопределение, избежать которого нет никакой надежды?

– Скажите мне, как оправдать перед мистером Фэрли нарушение нашего договора? – сказал я. – И после того, как он согласится отпустить меня, скажите, когда мне уехать? Я обещаю слепо повиноваться вам и вашим советам.

– Время не терпит, – отвечала она. – Вы слышали, утром я упомянула о следующем понедельнике и о необходимости привести в порядок комнату для гостей. Гость, которого мы ждем в понедельник...

Я был не в силах дождаться конца ее фразы. Вспомнив поведение и выражение лица мисс Фэрли за утренним завтраком, я понял, что гость, которого ждали в Лиммеридже, был ее будущий муж. Я не мог сдержаться, что-то было сильнее моей воли. Я прервал мисс Голкомб.

– Разрешите мне уехать сегодня, – сказал я горько. – Чем скорее, тем лучше...

– Нет, не сегодня, – возразила она. – Единственный предлог, на который вы можете сослаться мистеру Фэрли, чтобы объяснить ваш отъезд до истечения срока договора, – это то, что в силу непредвиденных обстоятельств вы вынуждены просить у него разрешения немедленно вернуться в Лондон. Вы должны подождать до завтра и поговорить с ним после утренней почты, тогда он отнесет перемену ваших планов за счет якобы полученного вами

письма из Лондона. Нехорошо и нечестно прибегать к обману, даже самому безобидному, но я слишком хорошо знаю мистера Фэрли: если только ему придет в голову, что все это выдумка, он вас никогда не отпустит. Поговорите с ним в пятницу утром; займитесь после этого (в ваших собственных интересах и в интересах вашего хозяина) вашей неоконченной работой. Оставьте все в полном порядке и уезжайте отсюда в субботу утром. Таким образом, у вас хватит времени, мистер Хартрайт, да и у нас тоже.

Прежде чем я мог ей ответить, что все ее желания будут исполнены, мы оба услышали приближающиеся шаги. Кто-то из домашних искал нас. Я почувствовал, что лицо мое вспыхнуло. Неужели к нам шла мисс Фэрли?

С облегчением, горестным и безнадежным – до такой степени изменилось уже мое положение, – я увидел, что это была только ее горничная.

– Можно попросить вас на минуту, мисс? – сказала девушка взволнованно и смущенно.

Мисс Голкомб спустилась к ней, и они отошли на несколько шагов.

Оставшись один, я с безнадежной грустью, описать которую не в силах, стал думать о моем бесславном возвращении к горестному одиночеству в моей бедной комнате в Лондоне. Воспоминания о моей доброй старенькой матушке и сестре, которые так радовались моей службе в Кумберленде, мысли о том, что я постыдно забыл их и только сейчас впервые о них вспомнил, нахлынули на меня, будя во мне горестное раскаяние, – так упрекали бы меня старые забытые друзья. Что почувствуют мои мать и сестра, когда я вернусь к ним, бросив службу, с исповедью о моем безрассудстве? Они, возлагавшие на меня столько надежд в тот памятный, счастливый прощальный вечер в Хемпстеде!..

Опять Анна Катерик! Даже воспоминание о прощальном вечере с матушкой и сестрой было теперь связано для меня с другим воспоминанием: об освещенной луной дороге в Лондон. Что это означало? Должны ли я и эта женщина снова встретиться? Возможно. Знала ли она, что я живу в Лондоне? Я ведь сам сказал ей об этом до или после того, как она недоверчиво спросила, много ли у меня знакомых баронетов. До или после? Я был слишком взволнован, чтобы вспомнить, когда именно.

Прошло несколько минут, прежде чем мисс Голкомб вернулась, отпустив горничную. Она была тоже явно взволнована.

– Мы с вами условились обо всем необходимом, мистер Хартрайт, – сказала она. – Мы поняли друг друга, как настоящие друзья, и теперь можем вернуться домой. Признаюсь, я беспокоюсь о Лоре. Она прислала сказать, что хочет немедленно видеть меня. Горничная говорит, что барышню очень встревожило какое-то письмо, которое она получила сегодня утром, несомненно то самое, которое я велела отнести в дом, когда мы шли сюда.

Мы поспешили обратно. Мисс Голкомб уже сказала мне то, что хотела, я же сказал ей далеко не все. С той самой минуты, как я узнал, что гость, которого ждут в Лиммеридже, – будущий муж мисс Фэрли, я чувствовал жгучее любопытство, горькую необходимость узнать, кто он. По всей вероятности, мне не представилась бы новая возможность спросить об этом, и я решил сделать это теперь.

– Вы с такой добротой сказали, что мы понимаем друг друга, мисс Голкомб. Теперь, когда вы поверили в мою благодарность и готовность последовать всем вашим советам, могу ли я спросить, кто...

Я замялся. Я заставил себя думать о нем, но как трудно было назвать его ее будущим мужем!

– Кто этот джентльмен, за которого выходит мисс Фэрли?

Очевидно, она была всецело поглощена мыслями о сестре. Она рассеянно отвечала:

– Владелец большого поместья в Хемпшире.

Хемпшир... где родилась Анна Катерик. Снова женщина в белом. В этом было что-то роковое.

– А его имя? – спросил я как можно равнодушнее и спокойнее.

– Сэр Персиваль Глайд.

Сэр... сэр Персиваль. Вопрос Анны Катерик про баронетов, с которым я мог быть знаком, снова припомнился мне. Я внезапно остановился и посмотрел на мисс Голкомб.

– Сэр Персиваль Глайд, – повторила она, думая, что я не расслышал.

– Он баронет? – спросил я с нескрываемым волнением.

Она помедлила, а потом довольно холодно ответила:

– Баронет, конечно.

XI

На обратном пути домой мы не сказали больше ни слова. Мисс Голкомб поспешила подняться к сестре. Я вернулся в свою студию, чтобы привести в порядок, прежде чем передать их в другие руки, те рисунки мистера Фэрли, которые я еще не успел реставрировать и окантовать. Когда я остался один, на меня лавиной нахлынули мысли, которые я отгонял раньше, мысли, которые делали мое положение еще более тягостным.

Она выходила замуж. Ее мужем будет сэр Персиваль Глайд. Человек с титулом баронета и владелец поместья в Хемпшире.

В Англии были сотни баронетов и десятки владельцев поместий в Хемпшире. Судя по всему, пока что у меня не было ни малейших оснований подозревать, что слова женщины в белом имели отношение к сэру Персивалю Глайду. И все же я почувствовал, что они относились именно к нему. Потому ли, что теперь я знал, что он имеет отношение к мисс Фэрли, а та, в свою очередь к Анне Катерик, с той самой ночи, когда я убедился в их сходстве? Потому ли, что утренние события взволновали меня и я был весь во власти воображаемых страхов из-за простых совпадений, простых случайностей? Но разговор с мисс Голкомб на обратном пути из летнего домика оказал на меня странное влияние. Предчувствие какой-то страшной опасности, подстерегавшей нас в неизвестном будущем, овладело мной целиком. Я почувствовал, что теперь я – одно из звеньев той цепи событий, разорвать которую не сможет даже мой отъезд из Кумберленда. Мучительные мысли о том, к чему все это приведет, чем все это кончится, все более омрачали мою душу. Каким бы горьким ни было мое страдание из-за несчастного конца моей дерзкой любви, оно было притуплено и приглушено еще более сильным страданием: предчувствием, что со временем с нами неминуемо случится нечто совершенно непредвиденное и грозное...

Я работал уже около получаса, когда в мою дверь постучали. На мой вопрос: «Кто там?» – дверь открылась, и, к моему удивлению, в комнату вошла мисс Голкомб.

Она была чем-то разгневана и взволнована. Прежде чем я успел предложить ей сесть, она схватила стул и опустилась на него подле меня.

– Мистер Хартрайт, – сказала она, – мне казалось, что всякие неприятные разговоры уже окончены, по крайней мере на сегодня. Но это не так. Кто-то затеял гадкую интригу с целью испугать мою сестру и помешать ее замужеству. Вы видели, что я велела садовнику отнести в дом письмо, адресованное мисс Фэрли?

– Конечно.

– Это анонимное письмо, гнусная попытка опорочить сэра Персиваля Глайда в глазах моей сестры. Оно испугало и встревожило ее, и мне с трудом удалось ее успокоить, прежде чем я смогла оставить ее одну и прийти сюда. Я знаю, что не имею права советоваться с вами о наших семейных делах, они не могут представлять для вас интереса...

– Простите меня, мисс Голкомб, я чувствую живейший интерес ко всему, что касается мисс Фэрли или вас.

– Я рада, что вы это сказали. Вы единственный человек в доме, да и вне дома, с которым я могу посоветоваться. Мистер Фэрли так носится со своими нервами и приходит в такой ужас при малейшей мысли о каких-нибудь затруднениях, что обращаться к нему нет никакого смысла. Наш священник – хороший, но слабохарактерный человек, он способен заниматься только делами своего прихода, а наши соседи – просто равнодушные знакомые, которых никак нельзя беспокоить в минуты треволнений и опасностей. Посоветуйте: следует ли мне предпринимать немедленные шаги к выяснению, кто автор этого письма, или подождать до завтра и обратиться к поверенному мистера Фэрли? Стоит ли терять целый день или нет? Это очень важно. Как вы думаете, мистер Хартрайт? Если бы необходимость не заставила меня в разговоре с вами упомянуть о некоторых обстоятельствах, конечно, можно было бы считать непростительным, что сейчас я обращаюсь именно к вам. Но после всего, что было между нами сегодня, право, я могу не принимать во внимание, что мы с вами знакомы всего три месяца.

Она подала мне письмо. Оно начиналось сразу без обращения, вот так:

«Верите ли вы в сны? Я надеюсь, что да, ради вас самих. Посмотрите, что говорится о снах в Священном Писании, и выслушайте предостережение, пока еще не поздно.

Прошлой ночью я видела сон о вас, мисс Фэрли. Мне снилось, что я стою в церкви. Я – по одну сторону аналоя, а священник с молитвенником в руках – по другую.

Через некоторое время в церковь вошли двое – мужчина и женщина, чтобы сочетаться браком. Той женщиной были вы. В чудесном белом атласном платье, в длинной белой прозрачной фате, вы выглядели такой красивой и невинной, что сердце замерло во мне и глаза мои наполнились слезами.

Слезы эти были благословенными слезами жалости, моя молодая леди, и, вместо того чтобы литься из моих глаз, как текут слезы у всех нас, они превратились в два светлых луча, которые все дальше и дальше устремлялись от меня к мужчине, стоявшему с вами перед аналоем, пока не коснулись его груди. Два луча, как две светлые радуги, протянулись между ним и мной. Я посмотрела, куда они указывали, и заглянула в самую глубину его сердца.

Внешность мужчины, за которого вы выходили замуж, была весьма приятной. Он был не высок и не низок – чуть ниже среднего роста. Оживленный, веселый, довольный, лет сорока пяти. У него было бледное лицо и облысевший лоб, у него были темные волосы и красивые каштановые бакенбарды. Глаза карие и очень блестящие; нос такой прямой, красивый и тонкий, что подошел бы и женщине. И руки тоже. Время от времени его беспокоил сухой, отрывистый кашель, и, когда он прикрывал рот рукой, на ней виднелся багровый рубец от старой раны. Такой ли он, как снился мне? Вам лучше знать, мисс Фэрли, вы сами знаете – ошиблась я или нет. Читайте дальше. Узнайте, что я увидела под его внешней оболочкой, – заклиная вас, читайте себе на пользу.

Я посмотрела туда, куда шли лучи, и заглянула в самое его сердце. Оно было черным, как ночь, и на нем было написано пылающими, огненными буквами рукою падшего ангела: «Без сострадания и без раскаяния. Он сеял горести на пути других и будет жить, сея горести на пути той, что стоит подле него». Я прочитала это, и тогда лучи переместились и устремились за его плечо: за ним стоял дьявол и смеялся. И лучи переместились вновь и устремились за ваше плечо: за вами стоял ангел и плакал. И в третий раз переместились лучи и легли между вами и этим человеком. Они ширились и ширились, оттесняя вас друг от друга. И священник напрасно искал венчальную молитву – она исчезла из книги, и он перестал листать книгу и закрыл ее, отчаявшись. А я проснулась в слезах, и сердце мое разрывалось от горя, ибо я верю в сны.

Верьте тоже, мисс Фэрли, молю вас, ради вас самих, верьте, верьте, как я. Иосиф и Даниил и другие в Священном Писании верили в сны.

Разузнайте о прошлом этого человека с рубцом на руке, прежде чем произнести слова, которые сделают вас его несчастной женой. Я предупреждаю вас не ради себя, но ради вас. Забота о вашем благополучии будет жить во мне до последнего моего дыхания. Дочь вашей матери в сердце моем, ибо мать ваша была моим первым, лучшим, моим единственным другом».

На этом без всякой подписи это удивительное письмо заканчивалось. Оно было написано довольно неразборчиво на линованной бумаге, усеянной кляксами. Почерк был несколько слаб и неясен, но ничем особым не отличался.

– Это письмо не безграмотное, – сказала мисс Голкомб, – и в то же время оно, конечно, слишком несвязное, чтобы предположить, что его писал образованный человек из высшего круга. Описание подвенечного платья и фаты и некоторые другие выражения говорят о том, что его писала женщина. Как по-вашему, мистер Хартрайт?

– Я тоже так думаю. Не только женщина, но женщина, чей рассудок, должно быть...

– ...расстроен? – подсказала мисс Голкомб. – Мне тоже так показалось.

Я не отвечал. Глаза мои были прикованы к последней фразе письма. «Дочь вашей матери в сердце моем, ибо мать ваша была моим первым, лучшим, моим единственным другом». Эти слова и мои сомнения в здравом смысле пишущего подсказывали мне предположение, о котором я боялся подумать, не то чтобы высказать его вслух. Я начинал опасаться за собственный рассудок. Не было ли это просто навязчивой мыслью – во всем непонятном находить следы одного и того же зловещего влияния, угадывать один и тот же скрытый источник. На этот раз я решил не поддаваться искушению и не высказывать никаких предвзятых предположений и догадок.

– Если есть малейшая возможность доискаться, кто писал это письмо, – сказал я, возвращая его мисс Голкомб, – я считаю, что никакого вреда не будет, если мы начнем искать сейчас же, немедленно. Надо расспросить садовника о старухе, которая дала ему письмо, а затем навести справки в деревне. Но сначала разрешите задать вам один вопрос. Вы сказали, что можете посоветоваться с поверенным мистера Фэрли завтра. Зачем откладывать? Почему не сделать этого сегодня?

– Я объясню вам, – отвечала мисс Голкомб. – Мне придется коснуться некоторых подробностей, относящихся к помолвке моей сестры. Я не видела необходимости упоминать о них утром в разговоре с вами. Сэр Персиваль Глайд приезжает сюда в понедельник, чтобы условиться о том, когда именно состоится свадьба. Ведь этот вопрос не был решен. Он хочет, чтобы свадьба была до конца года.

– Мисс Фэрли знает об этом? – спросил я нетерпеливо.

– Нет, и не подозревает. После всего происшедшего я не могу взять на себя ответственность и сказать ей об этом. Сэр Персиваль Глайд говорил по этому поводу с мистером Фэрли, и тот сам сказал мне, что, как опекун Лоры, он готов пойти навстречу желаниям сэра Персиваля. Мистер Фэрли написал поверенному нашей семьи, мистеру Гилмору. Тот должен был уехать по делам в Глазго, но ответил, что на обратном пути он заедет в Лиммеридж. Завтра он приезжает и пробудет с нами несколько дней, чтобы сэр Персиваль Глайд мог представить ему свои доводы для ускорения свадьбы. Если сэру Персивалю это удастся, то мистер Гилмор вернется в Лондон уже с распоряжением насчет приданого моей сестры и брачного контракта. Вы понимаете теперь, мистер Хартрайт, почему я сказала, что завтра мы сможем посоветоваться с юристом. Мистер Гилмор – испытанный друг двух поколений семьи Фэрли, мы можем вполне ему довериться.

Брачный контракт! Эти слова наполняли меня отчаянием ревности, заглушавшим все лучшее, что было во мне. Я подумал – мне трудно признаться в этом, но я не должен скрывать ничего из подробностей этой ужасной истории, которую я теперь решил обнародовать, – я подумал о туманных обвинениях против сэра Персиваля Глайда, содержащихся в аноним-

ном письме, и во мне вспыхнула отвратительная надежда. Что, если эти дикие обвинения справедливы? Что, если правда будет доказана до того, как решающее слово будет произнесено и брачный контракт заключен? Я хотел бы считать, что чувство, владевшее мной тогда, было всецело связано с заботой о благополучии мисс Фэрли. Но я должен признаться, что мною владела безрассудная, мстительная, безнадежная ненависть к человеку, который должен был стать ее мужем.

– Если мы хотим знать правду, – сказал я под влиянием этого нового чувства, – не будем терять ни минуты. Я еще раз советую расспросить садовника и после пойти в деревню.

– Я думаю, что могу помочь вам и в том и в другом, – сказала мисс Голкомб. – Пойдемте вместе, мистер Харттрайт, и сделаем все, что только возможно.

Я уже хотел было открыть перед нею двери, но остановился, чтобы задать ей один важный вопрос, прежде чем мы выйдем из комнаты.

– В анонимном письме подробно описана внешность жениха, – сказал я. – Имя сэра Персиваля Глайда не упомянуто, я знаю. Но похож ли он на этот портрет?

– Все точно. Даже то, что ему сорок пять лет.

Сорок пять. А ей не было еще и двадцати одного года. Мужчины его возраста часто женились на молоденьких девушках, что, как известно, иногда не мешало этим бракам быть счастливыми. Я знал это. Но даже упоминание о его зрелом возрасте в сравнении с ее юностью усилило мою слепую ненависть и недоверие к нему.

– Все точно, – продолжала мисс Голкомб, – даже то, что у него рубец на правой руке. Это рубец от раны, полученной им несколько лет назад во время путешествия по Италии. Внешность его, несомненно, хорошо известна автору анонимного письма.

– А кашель, о котором тоже упомянуто, насколько я помню?

– Да, даже это правда. Он не обращает на кашель внимания, но подчас это тревожит его друзей.

– Я полагаю, никаких слухов, порочащих его, не доходило до вас?

– Мистер Харттрайт! Я надеюсь, вы достаточно справедливы, чтобы не поддаваться влиянию этого гнусного письма.

Я почувствовал, что краснею, ибо письмо, безусловно, повлияло на меня.

– Надеюсь, что нет, – отвечал я смущенно. – Может быть, я не имел права задавать этот вопрос?

– Я не жалею, что вы об этом спросили, – сказала она, – потому что могу отдать должное репутации сэра Персиваля. Никаких слухов, порочащих его, никогда не доносилось ни до кого из нашей семьи, мистер Харттрайт. Он два раза успешно баллотировался на выборах и прошел это испытание не опороченный. Человек, которому удалось это в Англии, – человек с установившейся безупречной репутацией.

Я молча открыл перед нею двери и последовал за нею. Она не убедила меня. Если бы ангел спустился с неба, чтобы подтвердить правоту ее слов, даже он не убедил бы меня.

Мы застали садовника за обычной работой. Но из глупого парня ничего нельзя было вытянуть. Женщина, которая дала ему письмо, была старухой. Она ему ни слова не сказала. Она ушла в направлении к югу. Вот все, что мог рассказать нам садовник.

XII

Мы терпеливо расспрашивали самых разнообразных людей во всех концах деревни и тщательно наводили справки по всему Лиммериджу. Но все наши розыски ни к чему не привели. Трое из жителей деревни уверяли нас, что видели именно ту женщину, которую мы искали, но ни один из них не мог описать ее внешность и указать, в какую сторону она ушла. В общем, они помогли нам не больше, чем их ненаблюдательные соседи.

Наша любознательность вскоре привела нас на край деревни, где находилась школа, когда-то основанная миссис Фэрли. Проходя мимо здания, предназначенного для мальчиков, я предложил для успокоения совести навести напоследок справки у учителя, предполагая, что по роду своей службы он должен быть самым разумным человеком в деревне.

– Боюсь, что в то время, когда эта женщина проходила мимо школы, – сказала мисс Голкомб, – учитель был занят уроками. Все же попробуем.

Мы вошли во двор и обогнули здание, чтобы войти в школу. Проходя мимо окна, я остановился и заглянул в него.

Учитель сидел за кафедрой, спиной ко мне. По-видимому, он читал нотацию школьникам, которые собрались вокруг него. Только один крепкий белобрысый мальчуган стоял отдельно от всех, на табуретке в углу. Беспомощный маленький Робинзон Крузо, одинокий, затерянный на своем пустынном островке в наказание за какой-то проступок.

Дверь была открыта настежь, когда мы подошли к ней, и голос учителя отчетливо доносился до нас. Мы на минуту остановились у порога.

– Ну, так вот, дети, – говорил учитель, – запомните, что я вам скажу. Если в нашей школе я услышу еще хоть одно слово о привидениях, всем вам не поздоровится. Привидений нет. Они не существуют на свете, а потому всякий мальчик, верящий в них, верит в то, чего нет; а мальчик, посещающий нашу школу и верящий в то, чего нет, идет наперекор здравому смыслу и тем самым нарушает дисциплину, а посему подлежит строгому наказанию. Все вы видите Джекоба Постлвейта вон там, на позорной табуретке. Он наказан вовсе не за то, что, по его словам, вчера вечером он видел привидение. Он наказан за то, что слишком дерзок и упрям, чтобы внять голосу рассудка, и настойчиво твердит о своем привидении, несмотря на мои слова, что привидений нет, быть не может и никогда не бывает. Если Джекоб Постлвейт не образумится, я палкой выколочу из него привидение! А если эту глупость будут повторять за ним остальные, я приму меры и выколочу привидение из всех школьников!

– Кажется, мы выбрали неподходящее время для визита, – сказала мисс Голкомб, открывая двери и решительно направляясь в класс.

Наше появление произвело огромное впечатление на мальчишек. По-видимому, они решили, что мы пришли специально для того, чтобы посмотреть, как будут пороть Джекоба Постлвейта.

– Идите домой обедать, – сказал учитель. – Все, кроме Джекоба. Он останется стоять, где стоял. Пусть привидение принесет ему поесть, если хочет.

При исчезновении товарищей и надежды на обед мужество покинуло юного Джекоба. Он вынул руки из карманов, посмотрел на них, медленно поднес к глазам и начал старательно тереть глаза кулаками, сопровождая эту работу приступами сопения через правильные промежутки времени.

– Мы зашли спросить вас кое о чем, мистер Демпстер, – сказала мисс Голкомб, обращаясь к учителю. – Мы никак не ожидали, что вы будете изгонять привидения. Что это значит? Что случилось?

– Этот скверный мальчишка напугал всю школу, заявив, что вчера вечером видел привидение, – отвечал учитель. – Он упрямо настаивает на своей глупой выдумке, несмотря на все мои уговоры и доводы.

– Удивительно! – сказала мисс Голкомб. – Я и не думала, что у какого-нибудь мальчишки хватит фантазии увидеть привидение. От всей души желаю вам справиться с этим дополнением к вашей тяжелой задаче – воспитывать юные умы в Лиммеридже, мистер Демпстер, и успешно искоренить их суеверие. А пока разрешите объяснить, почему я здесь и чего я хочу.

Она задала учителю тот же вопрос, который мы задавали почти каждому из жителей деревни. Последовал тот же обескураживающий ответ: мистер Демпстер и в глаза не видел ту, которую мы искали.

– Пожалуй, мы можем вернуться домой, – сказала мисс Голкомб. – Сведений, которые нам нужны, мы, очевидно, не получим.

Она поклонилась учителю и была уже готова выйти из класса, когда унылая фигура Джекоба Постлвейта, жалобно сопевшего на покаянном месте, привлекла ее внимание. Она остановилась, чтобы на прощанье подбодрить маленького узника.

– Ты, глупыш, – сказала она, – почему бы тебе не попросить прощенья у мистера Демпстера и не попритереть язык насчет привидений!

– Так ведь я же его видел! – упорствовал Джекоб Постлвейт и, выпучив глаза от ужаса, захлебнулся в слезах.

– Вздор и чепуха! Ничего подобного ты не мог видеть! Привидение! Вот как! Какое же привидение...

– Прошу прощенья, мисс Голкомб, – сказал учитель несколько смущенно, – мне кажется, что лучше не расспрашивать мальчика. Он несет невероятную чепуху и может по недомыслию...

– Может... что? – быстро спросила мисс Голкомб.

– Расстроить вас, – отвечал мистер Демпстер, сам явно расстроенный.

– Право, мистер Демпстер, вы льстите мне, считая меня настолько нервной особой, что даже подобный мальчишка способен меня расстроить. – И она насмешливо повернулась к Джекобу. – А ну-ка, – сказала она, – расскажи мне об этом. Ты, скверный мальчишка, когда ты видел привидение?

– Вчера на закате, – отвечал Джекоб.

– А, так ты видел его в сумерках. На что же оно было похоже?

– Все белое, как и полагается привидению, – отвечал этот знаток привидений с непоколебимой убежденностью.

– Где ж оно было?

– А вон там, на кладбище, как и полагается.

– «Такое, как полагается, и там, где полагается». Плутиска, ты говоришь о привидениях, будто знаешь их с колыбели! Но, во всяком случае, ты хорошо затвердил свой урок. Наверно, ты можешь сказать, чей это был призрак?

– Ну конечно, могу! – отвечал Джекоб, мрачно и победоносно кивая головой.

Мистер Демпстер уже несколько раз делал попытки перебить своего ученика. На этот раз он прервал мальчика так решительно, что его услышали.

– Простите меня, мисс Голкомб, – сказал он. – Осмелюсь заметить, что вы только поощряете дурные наклонности мальчика, задавая ему эти вопросы.

– Я только задам ему еще один вопрос, мистер Демпстер, и буду вполне удовлетворена. Ну, – продолжала она, обращаясь к мальчику, – чей же призрак это был?

– Призрак миссис Фэрли, – отвечал Джекоб шепотом.

Впечатление, которое этот потрясающий ответ произвел на мисс Голкомб, полностью оправдало тревогу учителя, пытавшегося помешать разговору. Покраснев от негодования, она кинулась к маленькому Джекобу так гневно и стремительно, что тот от испуга разразился новым потоком слез. Но она тут же взяла себя в руки и, ничего не сказав ему, обратилась к учителю.

– Бесполезно считать такого ребенка ответственным за свои слова, – сказала она. – Я не сомневаюсь, что кто-то другой внушил ему эту глупость. Нет ни одного человека в деревне, который не был бы чем-либо обязан моей матери, и, если есть люди, которые забыли об

уважении и благодарности к ее памяти, я разыщу их. Если я имею хоть каплю влияния на мистера Фэрли, они жестоко поплатятся.

– Думаю – нет, больше того: я уверен, мисс Голкомб, что вы ошибаетесь, – сказал учитель. – Все это от начала до конца просто выдумка этого глупого мальчишки. Он видел или ему показалось, что видел, женщину в белом, когда он шел вчера вечером через кладбище. Эта фигура будто бы стояла у мраморного креста, который в Лиммеридже все знают как памятник над могилой миссис Фэрли. Этого было достаточно, чтобы подсказать мальчику ответ, который, естественно, так поразил вас.

Мисс Голкомб, очевидно, почувствовала, что объяснение учителя было слишком разумно, чтобы его открыто оспаривать, хотя, по-видимому, была не вполне с ним согласна. Она ничего не сказала и, поблагодарив мистера Демпстера, обещала повидать его, когда ее сомнения рассеются. Потом она поклонилась и вышла из класса.

Во время этой странной сцены я стоял в стороне, внимательно слушал и делал свои выводы. Как только мы остались вдвоем, мисс Голкомб спросила меня, какого я мнения обо всем услышанном.

– У меня сложилось вполне определенное мнение, – отвечал я. – Я уверен, что рассказ мальчика основан на подлинном факте. Признаюсь, мне очень хотелось бы увидеть памятник над могилой миссис Фэрли и осмотреть землю вокруг него.

– Хорошо, вы увидите могилу.

Мы пошли к кладбищу. Она молчала, глубоко задумавшись.

– То, что произошло в школе, – сказала она наконец, – так отвлекло меня от того письма, что я просто не могу сосредоточиться на мысли о нем. Может быть, не стоит больше наводить справки, а подождать до завтра и передать все в руки мистера Гилмора?

– Ни в коем случае, мисс Голкомб. Напротив! То, что произошло в школе, убеждает меня в необходимости вести дальнейшие розыски.

– Почему?

– Подозрение, зародившееся во мне, когда я прочитал анонимное письмо, теперь подтвердилось.

– По всей вероятности, мистер Хартрайт, у вас были до сих пор основания скрывать от меня ваше подозрение?

– Я сам боялся думать о нем. Я считал его совершенно нелепым, необоснованным, мне казалось, что оно плод моего больного воображения. Но я больше этого не думаю. Не только ответы мальчика, но и случайная фраза, слетевшая с уст учителя, утвердили меня в моем предположении. Возможно, дальнейшее докажет, что я заблуждаюсь, мисс Голкомб, но сейчас я твердо уверен, что мнимый призрак на кладбище и автор анонимного письма – это одно и то же лицо.

Она остановилась, побледнела и пытливо посмотрела на меня:

– Кто же это?

– Школьный учитель, сам того не зная, ответил вам. Говоря о фигуре, которую мальчик видел на кладбище, учитель сказал: «Женщина в белом».

– Неужели Анна Катерик?

– Да, Анна Катерик.

Она тяжело оперлась на мою руку.

– Я не знаю отчего, – сказала она тихо, – но ваше подозрение приводит меня в ужас и надрывает мне сердце. Я чувствую... – Она остановилась и сделала попытку улыбнуться. – Мистер Хартрайт, – продолжала она, – я покажу вам могилу и сразу же пойду домой. Лору нельзя оставлять одну надолго. Я лучше вернусь и побуду с ней.

Мы подошли к самому кладбищу. Церковь, угрюмое здание из серого камня, стояла в небольшой ложбине, защищенной от суровых ветров, дувших через поросшую вереском равнину, которая простиралась вокруг.

Могилы тянулись по склону холма – немного дальше от церкви. Невысокая стена из грубого камня окружала кладбище; оно лежало под небом голое и открытое. Лишь в глубине его группа хилых деревцов бросала скупую тень на хилую, редкую траву да быстрый ручеек протекал по каменистому руслу. На кладбище можно было пройти с трех сторон, там, где к ограде примыкали снаружи и изнутри широкие каменные ступени. Неподалеку от одного из таких входов, за ручьем и деревьями, возвышался мраморный крест над могилой миссис Фэрли, отличавшийся от скромных надгробий, которые стояли вокруг.

– Теперь я могу не идти с вами дальше, – сказала мисс Голкомб, указывая на мраморный крест. – Вы, конечно, расскажете мне, если обнаружите что-нибудь подтверждающее вашу догадку. Давайте встретимся дома.

Она ушла, оставив меня одного. Я перешел по каменным ступеням на кладбищенскую дорожку, которая вела прямо к могиле миссис Фэрли.

Трава кругом была слишком скудная и почва слишком твердая, чтобы можно было разглядеть чьи-то следы. Не найдя их, я стал внимательно разглядывать мраморный крест и плиту под ним, на которой была выгравирована надпись.

Белый мрамор был местами покрыт пятнами от непогоды, но часть плиты обращала на себя внимание девственной, ничем не запятнанной белизной. Я стал присматриваться и понял, что ее вытирали или мыли совсем недавно. Несомненно, это было сделано чьими-то заботливыми руками, ибо чистое место резко выделялось на потускневшем мраморе. Казалось, кто-то начал чистить памятник и второпях не успел закончить свою работу. Кто же это мог быть?

Я постоял, раздумывая над этим. Оттуда, где я находился, не было видно и признака жилья. Вокруг меня было царство мертвых. Я вернулся к церкви, обошел ее сзади и вышел за церковную ограду. Передо мной была тропинка, которая вела вниз, к заброшенной каменоломне. На одном из склонов оврага стоял домик, у его дверей пожилая женщина занималась стиркой.

Я подошел к ней и стал расспрашивать о церкви и о кладбище. Она охотно разговаривала, и с первых же слов сказала мне, что муж ее одновременно и могильщик и причетник в церкви. Я отозвался с похвалой о памятнике миссис Фэрли. Женщина покачала головой и сказала, что ему бы надлежало быть в лучшем состоянии. Следить за ним было обязанностью ее мужа, но он все болеет, и сил у него не хватает. Уже несколько месяцев, как он еле доползает до церкви по воскресеньям, чтобы нести свою службу; вот почему памятник стоит заброшенный. Муж стал теперь поправляться и надеется, что через недельку или дней через десять у него хватит сил заняться памятником и почистить его.

Эти сведения, которые она сообщила мне на простонародном кумберлендском диалекте, подтвердили мои догадки. Я дал бедной женщине несколько монет и вернулся в Лимеридж.

По-видимому, памятник чистила посторонняя рука. В связи с тем, что я уже знал, и с тем, что я начал подозревать после рассказа о привидении, замеченном в сумерках, я твердо решил понаблюдать за могилой миссис Фэрли в тот же вечер – вернуться на кладбище на закате и дожидаться ночи. Чистка памятника была не закончена – та, которая начала эту работу, возможно, вернется, чтобы закончить ее.

Дома я рассказал мисс Голкомб о своих планах. Она как будто удивилась и встревожилась, когда я пояснил ей мою цель, но ничего не возразила. Она только проговорила: «Надеюсь, ваша затея кончится благополучно».

Когда она собралась уходить, я как можно равнодушнее осведомился о здоровье мисс Фэрли. В ответ я услышал, что настроение ее несколько улучшилось и мисс Голкомб надеется уговорить ее погулять, пока солнце еще не зашло.

Я вернулся в свою комнату и снова занялся коллекцией рисунков. Необходимо было привести их в порядок, а кроме того, работа помогла мне немного рассеяться и отвлечься от мысли о беспросветном будущем, ожидавшем меня.

Время от времени я отрывался от своего занятия, чтобы посмотреть в окно, и наблюдал, как солнце спускалось все ниже и ниже к горизонту. В одну из таких минут я увидел, что под моими окнами по широкой, усыпанной гравием дорожке идет мисс Фэрли.

Я не видел ее с утра и за завтраком почти не разговаривал с нею. Еще день в Лиммеридже – вот все, что мне оставалось. А потом я, может быть, больше никогда ее не увижу... Этого было достаточно, чтобы приковать меня к окну. У меня хватило такта спрятаться за ставнями, чтобы она не увидела меня, но не хватило сил удержаться от искушения следить за ней до тех пор, пока она не скроется из глаз.

Она была в коричневой пелерине поверх простого черного платья и в той же соломенной шляпке, что и в первую нашу встречу. Теперь к шляпке была прикреплена вуаль, закрывавшая от меня ее лицо. У ног ее бежала любимая спутница ее прогулок – маленькая итальянская левретка в элегантной красной попонке, которая оберегала нежную кожу собачки от холодного воздуха. Но мисс Фэрли, казалось, не обращала никакого внимания на свою левретку. Она шла вперед, склонив голову и спрятав руки под пелерину. Как и в тот день, когда я услышал, что она выходит замуж, мертвые листья, гонимые ветром, кружились вокруг нее и падали на землю, пока она шла в бледном свете угасающего заката. Левретка дрожала, жалась к ее ногам, как бы желая привлечь ее внимание. Но она по-прежнему не замечала ее... Она уходила все дальше от меня, все дальше, а мертвые листья кружились вокруг нее и падали на дорожку, пока она совсем не скрылась из глаз, а я не остался один с моей печалью.

Через час я закончил работу. Солнце уже совсем закатилось. Я взял в передней пальто и шляпу и выскользнул из дому никем не замеченный.

На небе вихрем клубились темные тучи, с моря дул пронзительный ветер. Берег был далеко, но гул прибоя отдавался унылым эхом в моих ушах, когда я пришел на кладбище. Оно выглядело еще пустыннее, чем обычно. Кругом не было ни души. Я стал выбирать место, где я мог ждать и сторожить, глядя на белый крест, возвышавшийся над могилой миссис Фэрли.

XIII

Кладбище было расположено неподалеку от церкви, на открытом месте, что вынуждало меня как можно осмотрительнее выбрать место для наблюдения.

Главный вход церкви был прямо против кладбища. Церковная дверь была защищена каменным притвором. После некоторого колебания, вызванного естественным нежеланием прятаться, я все же решился войти в притвор. С обеих сторон были прорезаны небольшие отверстия для окон. Через одно из них мне была видна могила миссис Фэрли. Из второго – каменоломня вдали и домик причетника. Передо мной, у главного входа, простиралась часть пустынного кладбища и склон унылого порыжевшего холма, над которым неслись по ветру темные вечерние тучи. Не видно, не слышно было ни единой живой души, птица не пролетала, не доносился даже лай собаки из дома причетника. Когда затихал отдаленный гул прибоя, слышалось только унылое шуршание сухих листьев, еще не слетевших с низких деревьев около могилы миссис Фэрли, да еле слышное журчание ручья по каменному руслу. Печальный час, печальное место. По мере того как проходили минуты, мне становилось все больше не по себе в моем каменном тайнике.

Сумерки еще не сгустились, отсвет заката еще медлил на небе. Прошло более получаса моего одинокого бдения, когда я услышал шаги и чей-то голос. Шаги приближались из-за церкви, голос был женский.

– Не тревожьтесь о письме, моя милочка, – говорил голос, – я благополучно передала его прямо в руки парню. Он взял его и ни слова не сказал. Он пошел своей дорогой, а я своей, и никто не следил за мной, за это я ручаюсь.

Эти слова до такой степени потрясли меня, возродив все мои надежды на предстоящую встречу, что я испытывал почти страданье. Последовала пауза, но шаги приближались. Через минуту я увидел, что две женщины прошли мимо церкви, как раз под оконцем, в которое я смотрел. Они направлялись прямо к могиле, и мне были видны только их спины.

На одной из женщин были капор и шаль. Другая была в длинной темно-синей накидке с капюшоном, надвинутым на голову. Край ее платья виднелся из-под накидки. Сердце мое забилося еще сильнее: платье было белое.

На полдороге между церковью и могилой они остановились, и женщина в шали повернула голову к своей подруге, лицо которой оставалось в тени капюшона.

– Ни в коем случае не снимайте эту теплую накидку, – сказал голос, который я уже слышал, – голос женщины в шали. – Мисс Тодд права, говоря, что вы слишком привлекали к себе внимание вчера, вся в белом. Я немножко погуляю, пока вы здесь. Не знаю, как вы, а я не люблю кладбищ. Кончайте свое дело к моему возвращению, чтобы нам попасть домой до ночи.

С этими словами она повернула обратно. Теперь я видел ее лицо. Это было лицо пожилой женщины, загорелое, обветренное, румяное, ничего бесчестного или подозрительного в нем не было. Около церкви она остановилась и плотнее закуталась в шаль.

– Чудачка, – сказала она вполголоса, – и всегда была чудачкой, с тех пор как я ее знаю. Вечно выдумывает, вечно все по-своему! Но безобидная, бедняжка, совсем безобидная, как малое дитя.

Она вздохнула, оглянулась на могилы, покачала головой, как будто мрачный вид кладбища был ей совсем не по душе, и скрылась за церковью.

Я на минуту задумался: не последовать ли за ней? Не заговорить ли? Но непреодолимое желание встретиться лицом к лицу с ее спутницей решило этот вопрос. Женщину в шали я мог повидать, когда она будет возвращаться на кладбище, хотя вряд ли она могла дать мне сведения, за которыми я охотился. Лицо, передавшее письмо, не представляло большого интереса. Главным лицом была та, что написала письмо. Только она могла дать мне нужные сведения. И, по моим убеждениям, именно она – автор письма – была сейчас на кладбище.

В то время как эти мысли проносились в моем мозгу, я увидел, как женщина в накидке подошла к самой могиле и немного постояла над ней. Потом она огляделась и, вынув из-под накидки белый кусок полотна или платок, пошла к ручью. Ручей вбегал на кладбище через небольшое отверстие в каменной стене и немного дальше вытекал в такое же отверстие. Она намочила тряпку в воде и вернулась к могиле. Я видел, как она приложилась к кресту, опустила на колени перед могильной плитой и стала мыть ее.

Поразмыслив, как осторожнее приблизиться к ней, чтобы она не испугалась, я решил обойти стену, скрывавшую меня только наполовину, и войти на кладбище через другой вход, чтобы она могла увидеть меня издали. Но она так углубилась в свое занятие, что не слышала моих шагов, пока я не подошел довольно близко. Тогда она подняла голову, вскрикнула, вскочила на ноги и замерла в безмолвном, неподвижном испуге.

– Не пугайтесь, – сказал я. – Вы, конечно, помните меня?

При этом я остановился, потом медленно сделал несколько шагов, снова остановился и мало-помалу подошел к ней совсем близко. Если до этого у меня и были сомнения, то теперь

их не стало. Передо мной – у могилы миссис Фэрли – стояла та, которую я встретил тогда в полнощный час на безлюдной большой дороге.

– Вы вспомнили меня? – спросил я. – Мы встретились глубокой ночью, и я помог вам добраться до Лондона. Вы, конечно, этого не забыли?

Ее черты смягчились, вздох облегчения вырвался из ее груди. Я увидел, как воспоминание начало медленно выводить ее из мертвенного оцепенения, которым испуг сковал ее.

– Не пытайтесь пока что говорить со мной, – продолжал я. – Сначала придите в себя, сначала убедитесь, что я вам друг.

– Вы очень добры ко мне, – прошептала она. – Так же добры, как тогда.

Она замолчала, я тоже молчал. Я не только хотел дать ей время прийти в себя, – мне самому надо было собраться с мыслями.

В тусклом, мерцающем вечернем свете эта женщина и я – мы встретились снова, над чужой могилой, мертвые лежали вокруг, пустынные холмы обступали нас со всех сторон. Час, место, обстоятельства, при которых мы теперь стояли лицом к лицу в сумрачном безмолвии этой унылой ложбины, вся дальнейшая жизнь, зависящая от каких-то случайных слов, которыми мы обменяемся, сознание, что, насколько мне известно, все будущее Лоры Фэрли обусловлено тем, заслужу я или нет доверие несчастной, которая стояла, дрожа от испуга, у могилы ее матери, – все это грозило лишить меня спокойствия и самообладания, от которых зависел мой дальнейший успех. Сознывая это, я приложил все силы, чтобы взять себя в руки, я сделал все возможное, чтобы эти несколько минут раздумья послужили на пользу.

– Вы успокоились? – спросил я, как только решил, что можно обратиться к ней. – Можете ли вы говорить со мной, уже не боясь меня и не забывая, что я вам друг?

– Как вы попали сюда? – сказала она, не обратив внимания на мои слова.

– Разве вы забыли, что, когда мы виделись в последний раз, я сказал вам о моем отъезде в Кумберленд? С тех пор я здесь, я живу в Лиммеридже.

– В Лиммеридже! – Бледное ее лицо оживилось, когда она повторила эти слова; блуждающие глаза остановились на мне с внезапно пробудившимся интересом. – Ах, как вы счастливы там, наверно! – сказала она, глядя на меня уже без тени прежнего испуга.

Я воспользовался тем, что в ней снова пробудилось доверие ко мне, чтобы рассмотреть ее лицо с вниманием и любопытством, от чего я ранее удерживался из осторожности. Я смотрел на нее, полный воспоминаний о другом прелестном лице, которое там, на озаренной луной террасе, напомнило мне ее лицо. Тогда в мисс Фэрли я увидел роковое сходство с Анной Катерик. Теперь, когда перед моими глазами было лицо Анны Катерик, я видел ее сходство с мисс Фэрли, несмотря на некоторую разницу в их внешности. Те же черты лица, та же фигура, тот же цвет волос, то же нервное подергивание губ, тот же рост, стан, поворот головы. Они были разительно похожи, более похожи, чем я ранее предполагал. Но на этом их сходство кончалось, и начиналось различие в отдельных подробностях. Прелестный цвет лица мисс Фэрли, прозрачная ясность ее глаз, атласная чистота кожи, розовая нежность губ – вот чего не было на изможденном, измученном лице, на которое я смотрел. И хотя самая мысль об этом была мне ненавистна, во мне росло убеждение, что достаточно было бы какой-либо печальной перемены в будущем, чтобы сделать это сходство полным. Если когда-нибудь страданье и горе наложат свою печать на юную красоту мисс Фэрли, тогда Анна Катерик и она станут похожи, как близнецы, как две капли воды, как живое отражение друг друга.

Я содрогнулся от этой мысли. Было нечто зловещее в моем слепом, безрассудном неверии в будущее. Я был рад, что мои размышления были прерваны – рука Анны Катерик прикоснулась к моему плечу. Это прикосновение было таким же внезапным и легким, как и в тот первый раз, когда ужаснуло меня.

– Вы смотрите на меня и думаете о чем-то, – сказала она своим странным, глухим, прерывистым голосом. – О чем?

– Ни о чем особенном, – отвечал я. – Мне только непонятно, как вы попали сюда.

– Я приехала с подругой, которая очень добра ко мне. Я здесь всего два дня.

– И вы приходили сюда вчера?

– Откуда вы это знаете?

– Просто догадался.

Она отвернулась от меня и снова стала на колени перед могилой.

– Куда же мне еще идти, как не сюда? – сказала она. – Здесь мой друг, который был мне ближе матери, единственный друг, к которому я могу прийти в Лиммеридже. О, как мне больно, когда я вижу пятна на ее могиле! Ее памятник должен быть белым, как снег, в память о ней. Мне захотелось помыть его вчера, я не могла не прийти для этого сегодня. Разве это нехорошо? Думаю, что нет. Если я делаю это ради миссис Фэрли, в этом не может быть ничего плохого.

Незабываемое чувство благодарности к своей благодетельнице, очевидно, было руководящей идеей у этой несчастной. Ее ограниченный ум не воспринимал никаких новых впечатлений, кроме тех первых, память о которых не угасала в ней с детства. Я понял, что, если я хочу, чтобы она стала более доверчивой и откровенной, лучше всего предложить ей продолжать работу, для которой она пришла на кладбище. Как только я сказал ей об этом, она сразу же принялась мыть памятник. Она прикасалась к нему с такой нежностью, будто это было живое существо. Она снова и снова шептала про себя слова надгробной надписи, будто далекие дни ее детства вернулись и она опять старательно твердит свой урок на коленях у миссис Фэрли.

– Не удивляйтесь, – сказал я, осторожно нащупывая почву для дальнейших вопросов, – если я признаюсь, как я рад тому, что вы здесь. Я очень беспокоился о вас, когда вы уехали от меня в кэбе.

Она быстро подняла голову и подозрительно посмотрела на меня.

– Беспокоились? – повторила она. – Почему?

– После того как мы расстались тогда ночью, произошло нечто очень странное. Два человека проехали мимо меня в погоне за кем-то. Они не видели меня, но остановились совсем близко и заговорили с полисменом на углу улицы.

Она сразу оставила свою работу. Рука ее с мокрой тряпкой, которой она мыла надпись, упала. Другой рукой она ухватила за мраморный крест у изголовья могилы. Она медленно повернула ко мне голову – испуг застыл на ее лице. Я решил идти направо, отступить было слишком поздно.

– Эти два человека заговорили с полисменом, – сказал я, – и спросили, не видел ли он вас. Он вас не видел, и тогда один из этих мужчин сказал, что вы убежали из сумасшедшего дома.

Она вскочила на ноги, как будто мои последние слова были сигналом для ее преследователей.

– Подождите! Выслушайте до конца! – вскричал я. – Подождите, вы поймете, что я вам друг. Одно мое слово – и эти люди узнали бы, по какой дороге вы уехали, и я не сказал этого слова. Я помог вашему побегу, я помог вам. Поймите, постарайтесь понять! Поймите то, что я говорю вам!

Звук моего голоса, казалось, успокоил ее больше, чем сами слова. Она силилась понять их. Она переложила сырую тряпку из одной руки в другую, так же как перекладывала сумочку в ту ночь, когда я увидел ее впервые. Смысл моих слов начал медленно доходить до ее расстроенного, смятенного рассудка. Постепенно выражение ее лица смягчилось, и она взглянула на меня с любопытством, но уже без страха.

– Вы не считаете, что меня надо вернуть в лечебницу, нет?

– Конечно нет. Я рад, что вы оттуда убежали. Я рад, что помог вам.

– Да, да, конечно, вы очень помогли мне, – отвечала она как-то рассеянно. – Убежать было легко, иначе я не сумела бы этого сделать. Они никогда не сторожили меня, как сторожили других. Я была такая тихая, такая послушная, так всего боялась! Труднее всего было найти Лондон – в этом вы помогли мне. Поблагодарила ли я вас тогда? Я благодарю вас теперь, очень благодарю.

– Далеко ли больница оттуда, где вы со мной встретились? Докажите же, что считаете меня вашим другом, – скажите, где она находится?

Она упомянула о лечебнице – о частной лечебнице, находившейся неподалеку от того места, где я впервые увидел ее. А потом, очевидно испугавшись, не употреблю ли я во зло ее ответ, взволнованно, настойчиво повторила свой прежний вопрос: «Вы не считаете, что меня надо вернуть в лечебницу, нет?»

– Повторяю: я рад, что вы убежали, – рад, что вам теперь хорошо, – отвечал я. – Вы сказали тогда, что в Лондоне у вас есть подруга. Вы разыскали ее?

– Да, было очень поздно, но одна девушка в доме сидела за шитьем, она помогла мне разбудить миссис Клеменс, – так зовут мою подругу. Она хорошая, добрая женщина, но не такая, как миссис Фэрли. Ах, таких, как миссис Фэрли, нет!

– Миссис Клеменс – ваша старая подруга? Вы с ней уже давно знакомы?

– Да, она жила по соседству с нами когда-то, в Хемпшире. Она любила меня и заботилась обо мне, когда я была маленькая. Много лет назад, когда она уезжала от нас, она записала в моем молитвеннике свой лондонский адрес и сказала: «Если вам когда-нибудь будет плохо, Анна, приезжайте ко мне. У меня нет мужа, который мог бы запрещать мне что-либо, нет детей, чтобы смотреть за ними, вот я и буду заботиться о вас». Добрые слова, правда? Наверно, я помню их именно оттого, что они были добрыми, эти слова. Я так мало что помню, так мало, так мало!

– Разве у вас нет отца и матери, чтобы заботиться о вас?

– Отца? Я его никогда не видела. Я никогда не слышала, чтобы мать говорила о нем. Отец? О господи, он, наверно, давно умер.

– А ваша мать?

– Я с ней не очень-то лажу. Мы не ладим и боимся друг друга.

«Не ладим и боимся друг друга!» При этих словах во мне впервые шевельнулось подозрение, что, возможно, именно мать поместила ее в сумасшедший дом.

– Не спрашивайте меня о матери, – продолжала она. – Мне приятнее говорить о миссис Клеменс. Миссис Клеменс, как и вы, не считает, что меня надо вернуть обратно в больницу. Она тоже радуется, как и вы, что я убежала оттуда. Она плакала над моей бедой и сказала, что ее надо скрывать от всех.

Ее «беда». Что она хотела этим сказать? Не из-за этого ли она написала анонимное письмо? Не употребила ли она это слово в том обычном смысле, что и многие другие женщины, пишущие анонимные письма, чтобы помешать браку своих неверных возлюбленных?

Я решил выяснить, что она подразумевала под словом «беда», прежде чем мы заговорим о другом.

– Какая беда? – спросил я.

– Та беда, что меня заперли в больницу, – отвечала она, по-видимому искренне удивленная моим вопросом. – Какая еще может быть другая беда?

Надо было действовать как можно деликатнее и осторожнее, но обязательно достигнуть цели – это было необходимо для успеха моих дальнейших расследований.

– Есть другая беда, – сказал я, – которая может случиться с молодой женщиной и из-за которой она может терпеть всю жизнь горе и позор.

– А какая? – пытливо спросила она.

– Такая беда, какая бывает, когда женщина, полагаясь на свою добродетель, слишком веряется мужчине, которого любит.

Она взглянула на меня с безыскусственным удивлением ребенка. Ни малейшего смущения, ни краски, ни признаков какого-то тайного стыда не было на ее лице, так прямодушно и искренне отражавшем все чувства. Выражение ее лица и глаз убедили меня сильнее, чем это могли бы сделать любые ее слова, что причина, побудившая ее написать письмо мисс Фэрли, была совсем не та, которую я первоначально заподозрил. Но теперь все становилось еще более непонятным. Письмо хоть и не называло имени сэра Персиваля Глайда, но указывало именно на него. У нее бесспорно была очень серьезная причина, основанная на каком-то глубоком чувстве несправедливой обиды, чтобы тайно оговаривать его перед мисс Фэрли в тех выражениях, которые она употребила в своем письме. И эта причина была совсем иная, чем просто горькая женская обида. Если он и причинил ей зло, то совсем другое. Какое же зло он ей сделал?

– Я не понимаю вас, – сказала она после очевидных и тщетных усилий уразуметь то, что я ей сказал.

– Ну хорошо, – ответил я. – Вернемся к тому, о чем мы говорили. Расскажите, долго ли вы прожили с миссис Клеменс в Лондоне и как вы попали сюда.

– Долго ли? – повторила она. – Я все время жила с миссис Клеменс, пока мы не приехали сюда два дня назад.

– Значит, вы живете в деревне? – сказал я. – Странно, что я ничего не слышал о вас.

– Нет, нет, не в деревне. За три версты отсюда, на ферме. Вы знаете эту ферму. Ее называют фермой Тодда.

Я хорошо помнил это место – мы часто проезжали мимо во время наших прогулок. Это была одна из самых старых ферм в округе; она была расположена в пустынной, укрытой местности, у подножия двух холмов.

– Хозяева фермы – родственники миссис Клеменс, – продолжала она. – Они часто приглашали ее к себе в гости. Она сказала, что поедет и возьмет меня с собой – тут спокойно и свежий воздух. Это очень хорошо с ее стороны, правда? Я поехала бы куда угодно, только бы жить спокойно и в безопасности. А когда я узнала, что ферма Тодда недалеко от Лиммериджа, ох, как я обрадовалась! Я бы всю дорогу босиком прошла, только бы опять увидеть школу, и деревню, и дом в Лиммеридже! Они очень хорошие люди, эти Тодды. Мне хочется пожить у них подольше. Только одно мне не нравится в них и в миссис Клеменс...

– Что именно?

– Они смеются над тем, что я одеваюсь в белое. Они говорят, что это чудачество. Но ведь миссис Фэрли лучше знала! Миссис Фэрли никогда бы не заставила меня надеть эту некрасивую синюю накидку. Ах, при жизни она так любила белое! И вот теперь над ее могилой белый памятник, и я делаю его еще белее – ради нее. Она сама часто носила белое и всегда одевала в белое свою маленькую дочку. А как мисс Фэрли? Здорова и благополучна? Ходит ли она в белом, как в детстве?

Голос ее упал, когда она спросила про мисс Фэрли. Она все больше отворачивалась от меня. Мне показалось, что в ней произошла какая-то перемена. Очевидно, на совести ее было анонимное письмо, и я решил задать ей вопрос таким образом, чтобы заставить ее сразу признаться.

– Мисс Фэрли была не очень здорова сегодня утром, – сказал я.

Она что-то пробормотала в ответ, но так тихо, что я ничего не расслышал.

– Вы, кажется, спросили, что случилось с мисс Фэрли сегодня? – продолжал я.

– Нет, – ответила она нетерпеливо, – я ничего не спрашивала, вовсе нет!

– Но я все-таки скажу вам, – продолжал я. – Мисс Фэрли получила ваше письмо.

В продолжение нашего разговора она стояла на коленях, тщательно отмывая пятна на могильной плите. При первых словах моей фразы она оставила свою работу и медленно повернулась ко мне, продолжая стоять на коленях. Конец же буквально ошеломил ее. Тряпка выпала из ее рук, губы приоткрылись, тусклая бледность покрыла ее лицо.

– Откуда вы знаете? – слабо сказала она. – Кто показал вам письмо? – И вдруг поняла, что выдала себя этими словами. Она сложила руки в отчаянии. – Я не писала его! – задыхаясь от испуга, пробормотала она. – Я ничего о нем не знаю!

– Нет, – сказал я, – вы написали письмо и знаете это. Нехорошо было посылать такое письмо, нехорошо было пугать мисс Фэрли. Если у вас было что-то сказать ей, надо было пойти в Лиммеридж самой. Вы должны были сами сказать все молодой леди.

Она припала лицом к могильному камню, обвила его руками и не отвечала.

– Если у вас хорошие намерения, мисс Фэрли будет так же добра к вам, как была ее мать, – продолжал я. – Мисс Фэрли никому не расскажет о вас и не допустит, чтобы с вами случилась беда. Почему вам не повидаться с ней завтра на ферме или не встретиться с ней в саду в Лиммеридже?

– О миссис Фэрли, если б я могла умереть и успокоиться около вас! – прошептала она, прижавшись губами к камню и с горячей нежностью обращаясь к останкам, покоящимся под ним. – Вы знаете, как я люблю ваше дитя из-за любви к вам. О миссис Фэрли, научите меня, как спасти ее! Будьте по-прежнему моей любимой родной матерью и скажите, как это лучше сделать.

Я видел, как она целовала камень, я видел, как горячо ее руки обнимали и гладили его холодную поверхность. Это зрелище глубоко тронуло меня, я склонился над ней и с нежностью взял ее бедные, незащитные руки в свои, безуспешно пытаюсь успокоить ее.

Она вырвала руки и не подняла головы от могильной плиты. Желая успокоить ее во что бы то ни стало, я воззвал к тому чувству, которое, по-видимому, ее тревожило с самого начала нашего знакомства: к ее горячему желанию уверить меня, что она вполне нормальна и отвечает за свои поступки.

– Ну полно, полно, – ласково сказал я, – постарайтесь успокоиться, иначе мне придется переменить о вас мнение. Не заставляйте меня предполагать, что человек, поместивший вас в больницу...

Слова замерли на моих устах. Не успел я упомянуть о человеке, отправившем ее в сумасшедший дом, как лицо ее мгновенно разительно изменилось. Обычно такое трогательное в своей нервной, тонкой, слабой нерешительности, оно внезапно омрачилось выражением безумной ненависти и страха, придавшим ее чертам дикую, неестественную силу. Глаза ее горели в тусклом свете сумерек, как глаза дикого зверя. Она схватила тряпку, которую перед тем выронила, как будто это было живое, ненавистное ей существо, и стиснула ее в руках с такой силой, что несколько капель упало на могильную плиту.

– Говорите о чем-нибудь другом, – прошептала она сквозь зубы. – Если вы не перестанете говорить об этом, я не знаю, что я сделаю!

Никаких признаков прежней кротости не было в ней теперь. Память о доброте миссис Фэрли не была, как я раньше предполагал, единственным сильным впечатлением в ее прошлом. Рядом с благодарным, светлым воспоминанием о школьных днях в Лиммеридже жила мстительная мысль о страшном зле, которое ей причинили, заперев ее в сумасшедший дом. Кто же совершил это злое дело? Неужели ее родная мать?

Тяжело было отказаться от дальнейших расспросов, но я заставил себя сделать это. При виде состояния, в котором она была, жестоко было бы думать о чем бы то ни было другом, кроме необходимости успокоить ее.

– Я не скажу ничего, что могло бы огорчить вас, – сказал я мягко.

– Вы чего-то хотите от меня, – отвечала она резко и подозрительно. – Не смотрите на меня так. Говорите: что вам нужно?

– Я хочу только, чтобы вы успокоились и, когда придете в себя, подумали над моими словами.

– Какими словами? – Она помолчала и начала теревить в руках тряпку, шепча про себя: «Что он сказал?» Потом снова повернулась ко мне и нетерпеливо кивнула головой. – Почему вы не хотите помочь мне? – резко спросила она.

– Хорошо, я помогу вам, – сказал я. – Я просил вас повидаться с мисс Фэрли завтра и сказать ей всю правду о письме...

– А, мисс Фэрли, Фэрли, Фэрли... – Простое повторение любимого, знакомого имени, казалось, успокаивало ее.

Ее лицо смягчилось и стало похоже на прежнее.

– Не бойтесь мисс Фэрли, – продолжал я. – Не бойтесь, что попадете в беду из-за письма. Из него она уже многое знает, и вам будет нетрудно рассказать ей все. Не скрывайте от нее ничего, вам незачем это делать. Вы никаких имен в письме не называли, но мисс Фэрли знает, что тот, о ком вы писали, – сэр Персиваль Глайд...

Не успел я произнести это имя, как она вскочила на ноги, и дикий, страшный вопль вырвался из ее груди. Он огласил все кладбище. Сердце мое содрогнулось от его ужасного звука. Страшное выражение гнева, слетевшее было с ее лица, вернулось с удвоенной силой.

Этот вопль при одном упоминании его имени, взгляд, полный ненависти и страха, сказали мне все. Никаких сомнений у меня больше не оставалось. Не ее мать была виновата в том, что ее заключили в сумасшедший дом. Это сделал человек, имя которого было сэр Персиваль Глайд.

Крик донесся не только до меня. Я услышал, как вдали звякнул запор в доме причетника. Я услышал голос ее подруги, женщины в шали, которую звали миссис Клеменс.

– Иду! Иду! – кричала она из-за деревьев.

Через минуту показалась миссис Клеменс. Она почти бежала к нам.

– Кто вы? – вскричала она, входя на кладбище. – Как вы смеете пугать эту бедную, беззащитную женщину?

Прежде чем я успел ответить, она была уже около Анны Катерик и обнимала ее.

– Что с вами, дорогая? – говорила она. – Что он вам сделал?

– Ничего, – отвечала несчастная. – Ничего. Я только испугалась.

Миссис Клеменс бесстрашно обернулась ко мне с негодованием, за которое я тут же проникся к ней уважением.

– Мне было бы очень стыдно, если бы я заслужил ваш гнев, – сказал я. – Но я не заслужил его. Я испугал ее без всякого намерения. Она видит меня не в первый раз. Спросите сами, и она вам скажет, что я не способен нарочно напугать ее.

Я говорил очень отчетливо, чтобы Анна Катерик тоже услышала и поняла, и увидел, что смысл моих слов дошел до нее.

– Да, да, – сказала она. – Он был добр ко мне однажды, он помог мне... – Она зашептала на ухо своей подруге.

– Вот как! – сказала удивленно миссис Клеменс. – Конечно, это меняет дело. Простите, что я так грубо разговаривала с вами, сэр, но согласитесь, что со стороны это выглядело подозрительно. Я сама виновата больше вас: потакаю ее затеям и отпускаю ее в такое пустынное место одну. Пойдем, дорогая, пойдем теперь домой.

Мне показалось, что добрая женщина боялась возвращаться на ферму в такой час, и я предложил проводить их через пустошь. Миссис Клеменс поблагодарила, но отказалась, говоря, что по дороге они, наверно, повстречают работников с фермы.

– Простите меня, прошу вас! – сказал я, когда Анна Катерик взяла за руку свою подругу, чтобы уйти.

Я был так далек от намерения напугать и растревожить ее. Сердце мое заныло, когда я взгляделся в ее грустное, бледное, взволнованное лицо.

– Я постараюсь, – отвечала она. – Но вы слишком многое знаете. Думаю, что теперь я всегда буду бояться вас.

Миссис Клеменс бросила на меня быстрый взгляд и сочувственно покачала головой.

– Доброй ночи, сэр, – сказала она. – Вы ни в чем не виноваты, я знаю, но лучше бы вы напугали меня, а не ее, бедную.

Они сделали несколько шагов. Я решил, что они уходят. Вдруг Анна Катерик остановилась и сказала своей подруге:

– Подожди минутку, я должна попрощаться.

Она вернулась к могиле, с любовью обняла памятник и поцеловала его.

– Мне уже лучше, – вздохнула она, спокойно глядя на меня. – Я вам прощаю.

Она снова присоединилась к миссис Клеменс, и они покинули кладбище. Я видел, как они остановились у церкви и обменялись несколькими словами с женой причетника, которая вышла из дому и ждала, наблюдая за нами издали. Потом они побрели по тропинке, ведущей в степь.

Я смотрел вслед Анне Катерик, пока она не растаяла в сумерках, – смотрел ей вслед с такой щемящей грустью, будто в последний раз видел в этом мире печали и слез женщину в белом.

XIV

Через полчаса я был дома и докладывал мисс Голкомб обо всем, что случилось.

Она слушала меня от начала до конца с глубокой, молчаливой сосредоточенностью. В женщине ее темперамента это было сильнейшим доказательством того, какое впечатление произвел на нее мой рассказ.

– Я теряю голову, – вот все, что она сказала, когда я закончил, – я теряю голову, когда думаю о будущем.

– Будущее зависит от того, какую пользу мы сумеем извлечь из настоящего. Возможно, Анна Катерик будет более откровенна с женщиной, чем была со мной. Если б мисс Фэрли... – попробовал предложить я.

– Об этом сейчас и думать нечего, – перебила мисс Голкомб решительно.

– Тогда разрешите посоветовать вам, – продолжал я, – чтобы вы сами повидали Анну Катерик и сами постарались завоевать ее доверие. Что касается меня, то я боюсь снова напугать несчастную, как я уже это сделал. Вы не возражаете, если завтра я провожу вас до фермы?

– Конечно нет. Я пойду куда угодно и готова сделать все что угодно для блага Лоры. Как называется эта ферма?

– Вы должны хорошо ее знать. Она называется фермой Тодда.

– Знаю. Это одна из ферм, принадлежащих мистеру Фэрли. У нас в молочной работает дочка фермера. Она постоянно навещает своих. Может быть, она слышала или видела там что-нибудь, что нам поможет. Я сейчас спрошу, здесь ли она.

Она позвонила и послала слугу узнать. Вернувшись, он доложил, что молочница ушла на ферму. Она не была там вот уже три дня, и экономка отпустила ее домой на часок.

– Я поговорю с ней завтра, – сказала мисс Голкомб, когда слуга вышел. – А тем временем объясните, зачем, собственно, мне видеться с Анной Катерик. Разве у вас нет никаких сомнений, что человек, поместивший ее в сумасшедший дом, – сэр Персиваль Глайд?

– Ни тени сомнения. Но причина, из-за которой он это сделал, мне непонятна. Принимая во внимание разницу в их общественном положении, исключаящую всякую мысль о том, что они могут быть родственниками, чрезвычайно важно знать – даже учитывая, что ее, может быть, действительно надо было поместить в лечебницу, – чрезвычайно важно знать, почему именно он взял на себя серьезную ответственность, отправив ее...

– ... в частную лечебницу, вы, кажется, сказали?

– Да, в частную лечебницу, где за то, чтобы содержать ее в качестве пациентки, была, конечно, заплачена большая сумма, которую не мог бы себе позволить бедный человек.

– Я понимаю ваши опасения, мистер Хартрайт, и обещаю вам устранить их, – с помощью Анны Катерик или без ее помощи. Сэр Персиваль Глайд недолго пробудет в нашем доме, если не представит исчерпывающих объяснений мистеру Гилмору и мне. Будущее моей сестры – главная забота моей жизни, и думаю, я имею право сказать решающее слово по поводу ее замужества.

Мы расстались на ночь.

На следующее утро после завтрака одно обстоятельство, которое очень запомнилось мне в связи с тем, что произошло в дальнейшем, помешало нам немедленно отправиться на ферму.

Это был мой последний день в Лиммеридже. Необходимо было, как только придет почта, последовать совету мисс Голкомб и испросить у мистера Фэрли разрешения расторгнуть наш договор за месяц до истечения срока ввиду необходимости моего немедленного возвращения в Лондон.

По счастью, как бы для того, чтобы видимость была соблюдена, я получил два письма из Лондона. Я сейчас же пошел в свою комнату и послал слугу спросить мистера Фэрли, может ли он принять меня по важному делу и в какое именно время.

Я ждал возвращения слуги, не испытывая ни малейшей тревоги по поводу того, как мой хозяин отнесется к моей просьбе. Отпустит ли меня мистер Фэрли или нет, я все равно уеду. Сознание, что я сделал уже первый шаг на печальном пути, который с этой поры навсегда разлучит меня с мисс Фэрли, казалось, притупило во мне желание собственного благополучия. Покончено было с моим самолюбием бедняка, покончено с мелким тщеславием художника. Никакая дерзость мистера Фэрли – если б он пожелал быть дерзким – не могла бы ранить меня теперь.

Слуга вернулся с ответом, к которому я был готов. Мистер Фэрли крайне сожалел, что из-за плохого самочувствия он не в силах доставить себе удовольствие повидать меня, поэтому он просил извинить его и сообщить ему, чего именно я хочу, в письменной форме. Подобные просьбы я уже получал в течение моего трехмесячного пребывания в Лиммеридже. Все это время мистер Фэрли был «счастлив, что я нахожусь в его доме», но никогда не чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы повидать меня вторично. Слуга относил от меня своему барину новую охапку рисунков, реставрированных и окантованных мною, с моими «глубокими уважениями», и возвращался с пустыми руками, принося от мистера Фэрли «искренние приветия», «тысячу извинений и тысячу благодарностей» вместе с неизменным сожалением, что по состоянию здоровья мистер Фэрли по-прежнему должен оставаться одиноким узником в своих покоях. Нельзя было придумать лучшей системы, наиболее приятно устраивавшей обе стороны. Трудно сказать, кто из нас при этом чувствовал больше благодарности к больным нервам мистера Фэрли.

Я немедленно написал ему письмо в выражениях самых почтительных, ясных и кратких. Спустя полчаса мне вручили ответ. Он был написан изысканно-правильным почерком, лиловыми чернилами на гладкой, как слоновая кость, и плотной, как картон, атласной бумаге.

Ответ гласил:

«От мистера Фэрли привет мистеру Хартрайту. Мистер Фэрли не может выразить (по состоянию своего здоровья), до какой степени он удивлен и огорчен просьбой мистера Хартрайта. Мистер Фэрли не деловой человек, но он посоветовался со своим дворецким, и это лицо, будучи деловым человеком, поддерживает мнение мистера Фэрли, что ходатайство мистера Хартрайта о разрешении нарушить договор не может быть оправдано решительно ничем, разве только вопросом жизни или смерти.

Если бы высокое чувство преклонения перед искусством и его служителями, составляющее единственное утешение и отраду мучительного существования мистера Фэрли, могло быть поколеблено, то нынешние действия мистера Хартрайта поколебали бы его. Этого не произошло. Чувства эти остались незыблемыми – они изменились только в отношении самого мистера Хартрайта.

Высказав свое мнение в той малой мере, в которой это позволяют сделать невыносимые муки, причиняемые ему нервами, мистеру Фэрли ничего не остается добавить по поводу крайне непристойного домогательства, врученного ему. Ввиду болезненного состояния мистера Фэрли ему необходим полнейший покой, как душевный, так и телесный, а посему он не потерпит, чтобы мистер Хартрайт нарушал сей покой дальнейшим пребыванием в его доме при обстоятельствах столь раздражающего свойства для обеих сторон. Сообразно с этим мистер Фэрли, желая оградить свое спокойствие, отказывается от своих прав на мистера Хартрайта и уведомляет его, что он волен оставить его дом!»

Я прочитал письмо и отложил его в сторону вместе с другими бумагами. Было время, когда меня оскорбила бы его дерзость. Но теперь я отнесся к нему просто как к увольнению в письменной форме. Я больше не думал о нем; оно моментально испарилось у меня из памяти, когда я спустился в столовую и сказал мисс Голкомб, что готов идти с ней на ферму.

– Мистер Фэрли удовлетворил вашу просьбу? – спросила она, когда мы вышли из дому.

– Он разрешил мне уехать, мисс Голкомб.

Она быстро взглянула на меня и впервые за все время нашего знакомства по собственному почину взяла меня под руку. Никакие слова не выразили бы с большей деликатностью, что она понимала, в каких выражениях мне давали отставку, и сочувствовала мне не как человек, стоявший выше меня на общественной лестнице, но как друг. Меня не оскорбила дерзость этого мужского письма, но глубоко тронула подкупающая женская доброта.

По пути к ферме мы условились, что мисс Голкомб войдет в дом одна, а я подожду ее неподалеку. Мы решили поступить так, боясь, что мое присутствие, после того что произошло вчера вечером на кладбище, испугает Анну Катерик и она отнесется подозрительно к совершенно незнакомой ей даме. Мисс Голкомб оставила меня, желая сначала поговорить с женой фермера, не сомневаясь в ее дружеской помощи.

Я думал, что пробуду один довольно долго. К моему удивлению, не прошло и пяти минут, как мисс Голкомб вернулась.

– Анна Катерик отказалась повидать вас? – спросил я изумленно.

– Анна Катерик уехала, – отвечала мисс Голкомб.

– Уехала!

– Да, с миссис Клеменс. Они обе уехали рано утром, в восемь часов.

Я молчал. Я чувствовал, что наша единственная возможность выяснить что-либо исчезла вместе с ними.

– Миссис Тодд знает о своих гостях не больше, чем я, – продолжала мисс Голкомб, – и она тоже, как и я, в полном недоумении. Вчера, после того как они расстались с вами, они благополучно вернулись домой и, как обычно, провели вечер с семьей мистера Тодда. Однако перед самым ужином Анна Катерик напугала всех, упав в обморок. С ней и раньше, в первый день ее приезда на ферму, был обморок, но не столь глубокий, и миссис Тодд объясняла его тогда тем, что Анну Катерик, очевидно, потрясла какая-то новость, вычитанная

ею в местной газете, которую Анна взяла со стола и принялась читать за минуту или две до того, как ей сделалось дурно.

– Знает ли миссис Тодд, что именно так потрясло Анну?

– Нет, – отвечала мисс Голкомб. – Она просмотрела газету и ничего особенного не нашла. Я все же захотела просмотреть ее сама и на первой же странице обнаружила, что редактор за недостатком новостей перепечатал ряд заметок из отдела великосветской хроники одной лондонской газеты; среди них было сообщение о предстоящем браке моей сестры. Я сразу же поняла, что это и взволновало Анну Катерик. Очевидно, это сообщение и побудило ее написать анонимное письмо, переданное нам на следующий день.

– В этом нет никакого сомнения. Но чем был вызван ее вчерашний обморок?

– Неизвестно. Причина совершенно непонятна. В комнате никого чужого не было. Единственным гостем была наша молочница, одна из дочерей мистера Тодда, как я вам уже говорила. Разговор шел о местных новостях и сплетнях. Вдруг Анна вскрикнула и побелела как полотно, по-видимому, без всякой причины. Ее отнесли наверх, и миссис Клеменс осталась при ней. Слышно было, как они еще долго разговаривали, после того как все уже легли спать. Рано утром миссис Клеменс отвела миссис Тодд в сторону и чрезвычайно удивила ее, заявив, что они должны немедленно уехать. В объяснение она сказала, что серьезнейшая причина заставляет Анну Катерик покинуть Лиммеридж, но не по вине кого-либо из обитателей фермы. Невозможно было заставить миссис Клеменс быть более вразумительной. Она лишь качала головой и твердила, что просит ради спокойствия Анны Катерик ни о чем ее не расспрашивать. По-видимому, сама серьезно встревоженная, она повторяла, что Анне необходимо уехать, что она должна ехать вместе с ней и что они вынуждены скрыть, куда они едут. Я избавлю вас от рассказа о возражениях и доводах гостеприимной миссис Тодд. Кончилось все тем, что она сама отвезла их на ближайшую станцию часа три спустя. По дороге она тщетно пыталась добиться, чтобы они объяснили ей, в чем дело. Она высадила их у самой станции, обидевшись и рассердившись на них до такой степени за внезапный отъезд и отказ поделиться с ней, что в сердцах уехала, даже не попрощавшись с ними. Вот и все. Вспомните, мистер Хартрайт, и скажите мне, может быть, вчера вечером на кладбище что-нибудь случилось, чем можно объяснить непонятный отъезд этих двух женщин?

– Сначала, мисс Голкомб, я хочу понять причину обморока Анны Катерик, который так встревожил всех на ферме. Это случилось много часов спустя после того, как мы расстались, и когда прошло уже достаточно времени, чтобы то сильное волнение, которое я имел несчастье причинить ей, утихло и успокоилось. Расспросили ли вы о сплетнях, которые передавала молочница, когда Анне стало дурно?

– Да. Но сама миссис Тодд не слышала этого разговора за домашними делами. Она могла только сказать мне, что это были «просто новости», очевидно, подразумевая, что они, по обыкновению, толковали о своих делах.

– Возможно, у молочницы память лучше, чем у ее матери, – сказал я. – Думаю, будет правильнее вам самой поговорить с девушкой, как только мы вернемся.

Мое предложение было принято и приведено в исполнение сразу же по возвращении. Мисс Голкомб повела меня в помещения для прислуги, и мы застали девушку в молочной. Она, засучив рукава, чистила большой бидон от молока и что-то беззаботно напевала.

– Я привела джентльмена посмотреть вашу молочную, Ганна, – сказала мисс Голкомб. – Ведь это одна из достопримечательностей нашего дома, которая делает вам честь.

Девушка покраснела, сделала книксен и застенчиво сказала, что прилагает все силы, чтобы все было в чистоте и порядке.

– Мы только что вернулись с фермы, – продолжала мисс Голкомб. – Вы вчера были там, я слышала, и застали дома гостей?

– Да, мисс.

– Мне сказали, что с одной из них стало дурно. Разве было сказано что-нибудь, что могло бы расстроить или напугать ее? Ведь вы ни о чем страшном не говорили, нет?

– О нет, мисс, – смеясь, отвечала девушка, – мы с сестрой только обменивались всякими новостями.

– Ваша сестра рассказывала о ферме?

– Да, мисс.

– А вы рассказывали про Лиммеридж?

– Да, мисс. Я уверена, что не было ничего такого, что могло бы испугать бедняжку. Как раз когда она упала, рассказывала я. Я так испугалась, мисс, – я ведь никогда не падаю в обморок.

Прежде чем мы успели задать ей еще вопрос, ее позвали принять корзину яиц. Она вышла, и я шепнул мисс Голкомб:

– Спросите, не говорила ли она вчера о том, что в Лиммеридже ждут гостей.

Мисс Голкомб взглядом дала мне понять, что ей все ясно, и, как только девушка вернулась, спросила ее.

– О да, мисс, говорила, – чистосердечно ответила девушка. – И о том, что в Лиммеридже ждут гостей, и о том, что корова-пеструшка заболела. Вот и все новости, какие были у меня для моих родных.

– Вы сказали, кого именно мы ждем? Сказали, что сэра Персиваль Глайд приедет в понедельник?

– Да, мисс. Я сказала, что ждут сэра Персиваля Глайда. Надеюсь, ничего плохого я не сделала?

– О нет... Пойдемте, мистер Хартрайт. Если мы будем продолжать отвлекать ее разговорами, Ганна решит, что мы явились с намерением мешать ей работать.

Как только мы остались одни, мы посмотрели друг на друга.

– Вы все еще сомневаетесь, мисс Голкомб?

– Сэру Персивалю Глайду придется рассеять мои сомнения, или Лора Фэрли никогда не станет его женой.

XV

Подойдя к подъезду, мы увидели, что по аллее к дому приближается кабриолет. Мисс Голкомб подождала, пока экипаж не подъехал, и подошла пожать руку пожилому человеку, бодро выскочившему из кабриолета, как только спустили ступеньки. Приехал мистер Гилмор.

Когда нас представили друг другу, я стал рассматривать его с интересом, который мне трудно было скрыть. Ему предстояло остаться в Лиммеридже после моего отъезда, выслушать объяснение сэра Персиваля Глайда и своим советом помочь мисс Голкомб прийти к определенному решению. Он должен был ждать выяснения вопроса о браке и в том случае, если вопрос будет решен положительно, составить своей рукой брачный контракт, который бесповоротно свяжет судьбу мисс Фэрли с сэром Персивалем Глайдом. Даже в ту пору, когда я не знал того, что знаю теперь, я смотрел на поверенного с интересом, какого никогда раньше не чувствовал ни к одному из незнакомых мне смертных.

Внешне мистер Гилмор был полной противоположностью нашему обычному представлению о старых юристах. У него был цветущий вид, седые длинные, аккуратно причесанные волосы; черный сюртук его, жилет и брюки сидели на нем безукоризненно; белый галстук был тщательно завязан, и его светло-лиловые перчатки могли бы смело красоваться на руках какого-нибудь модного священнослужителя без страха и упрека. Его манеры и речь отличались отменной светскостью и изысканностью старой школы, а также остроумием и

находчивостью человека, по своей профессии обязанного быть всегда начеку и во всеоружии. Великолепное здоровье и прекрасные виды на будущее для начала, а затем безоблачная карьера добропорядочного человека, приятная, деятельная, почтенная старость – вот мое впечатление в целом от мистера Гилмора. Справедливости ради надо отметить, что чем дольше и лучше узнавал я его, тем сильнее утверждался в этом мнении.

Я оставил старого джентльмена и мисс Голкомб у дверей дома, чтобы мое присутствие не помешало их разговору о делах семьи Фэрли. Они прошли в гостиную, а я снова спустился по ступенькам подъезда, чтобы побродить по саду.

Часы моего пребывания в Лиммеридже были сочтены; мой отъезд назавтра был бесповоротно решен; мое участие в расследовании по поводу анонимного письма было закончено. Я не причинил бы никакого вреда никому, кроме самого себя, – на то короткое время, которое оставалось мне, – дав волю своему чувству и освободив его от того холодного, жестокого запрета, который мне пришлось наложить на него. Я хотел попрощаться с теми местами, которые были свидетелями быстротечных мгновений моего счастья и моей любви.

Я машинально свернул на дорожку, проходившую под окнами моей комнаты, на ту аллею, где вчера она гуляла со своей собачкой, и пошел по милым следам – до калитки, ведущей в сад, где цвели ее розы. Осень уже угрюмо обнажила его. Цветы, которые она учила меня различать по именам, те цветы, которые я учил ее рисовать, увяли, и маленькие дорожки среди клумб были мокры от дождя. Я прошел по аллее, где мы вместе вдыхали теплое благоухание августовских вечеров, где мы вместе любовались мириадами комбинаций света и тени у наших ног. Со стонущих веток вокруг меня осыпались листья, и запах осенней гнили преследовал меня.

Я был уже за садом и шел по тропинке, подымавшейся на ближайший холм. Лежавшее поодаль старое дерево, на котором мы часто отдыхали, было пропитано сыростью; места, где под обломками камня гнездились папоротники, которые я, бывало, рисовал для нее, превратились в лужи стоячей воды, стынувшей вокруг островков из мокрой сорной травы. Я взошел на вершину холма и поглядел на просторы, которыми мы любовались так часто в те счастливые дни. Все было голо и серо, все выглядело совсем иным, чем было в моей памяти. Солнечные лучи ее присутствия уже не грели меня; очарование ее голоса не пленяло моего слуха. На том месте, откуда я сейчас глядел вниз, она рассказывала мне о своем отце, о том, как горячо они любили друг друга и как она до сих пор тосковала, когда входила в его комнаты или занималась чем-то, что напоминало ей о нем.

Разве вид, открывшийся с холма, где я стоял в полном одиночестве, был похож на тот, которым я любовался, слушая ее рассказы? Я отвернулся и спустился вниз, через равнину, через дюны, к берегу моря. Там, где однажды она задумчиво рисовала какие-то фигуры на песке кончиком своего зонтика, волны, бешено гонимые прибоем, нескончаемой чередой высоко вздымали свои белые пенистые гребни. Ветер и волны давно стерли ее следы на песке там, где, бывало, мы сидели рядом и она спрашивала меня обо мне и моей семье, задавала мне подробные, чисто женские вопросы о матушке и сестре и простодушно гадала, покину ли я когда-нибудь свое одинокое жилье и буду ли иметь свою семью и угол. Я смотрел на безграничный однообразный водный простор, и берег, где мы проводили вместе солнечные часы нашего досуга, был мне чужим, будто я стоял на берегах незнакомой земли.

Безмолвное уныние окружающего наполнило мое сердце холодом. Я вернулся к дому и саду, где следы ее присутствия были на каждом повороте дорожек, где все говорило о ней.

Неподалеку от террасы я встретил мистера Гилмора. По-видимому, он искал меня, ибо ускорил свои шаги, заметив мое появление. Мое настроение не располагало меня к встрече с чужим человеком. Но она была неизбежной, и я покорился с намерением извлечь из этой встречи как можно больше пользы.

– Именно вас я и хочу повидать, – промолвил старый поверенный. – Мне надо сказать вам два слова, мой дорогой сэра, и, если вы не возражаете, я воспользуюсь представившимся мне случаем. Выражаясь яснее, мисс Голкомб и я говорили о семейных делах, из-за которых я здесь, и, естественно, она должна была коснуться неприятных обстоятельств, связанных с анонимным письмом. Она рассказала мне об участии, которое вы так усердно и добросовестно принимали в этом деле. Я понимаю, что это дает вам полное право интересоваться тем, как будет продолжено начатое вами расследование. Вам, конечно, хочется, чтобы оно было передано в надежные руки. Дорогой сэра, будьте покойны – оно будет в моих руках.

– Конечно, вы гораздо лучше меня можете посоветовать, как надо действовать, мистер Гилмор. Не будет ли нескромным с моей стороны, если я спрошу, что вы думаете предпринять?

– Я уже составил себе план действий, мистер Хартрайт, – по мере возможности. Я думаю послать копию анонимного письма с изложением всех сопутствующих ему обстоятельств человеку, которого я немного знаю: поверенному сэра Персиваля Глайда. Подлинник я оставил у себя, чтобы показать его сэру Персивалю, как только он приедет. Я также принял меры к тому, чтобы выследить обеих женщин, и послал одного из слуг – верного человека – на станцию выяснить, куда они направились. Ему даны деньги и велено следовать за ними, если он их разыщет или обнаружит их следы. Вот все, что мы можем предпринять до приезда сэра Персиваля. Лично я не сомневаюсь, что все объяснения, которых можно ожидать от джентльмена и честного человека, он представит нам с готовностью. Сэр Персиваль занимает очень высокое положение, сэра, – превосходное общественное положение, безупречная репутация. Я не сомневаюсь в результатах. Рад, что могу это сказать – за него я вполне спокоен. Подобные случаи постоянно встречаются в моей практике: анонимные письма, погибшие женщины – прискорбные явления нашего общественного строя. Я не отрицаю, что в данном деле есть свои особенности и осложнения, но сам случай, к прискорбию, банален, весьма банален.

– К сожалению, мистер Гилмор, я не разделяю ваших взглядов на это дело.

– Вот именно, дорогой сэра, вот именно. Я стар – и у меня практическая точка зрения. Вы молоды – и у вас романтическая точка зрения. Не будем спорить о наших взглядах. По роду моей профессии я постоянно живу среди словопрений, мистер Хартрайт, и всегда рад, когда могу избежать их, как делаю это сейчас. Подождем и посмотрим, как развернутся события, – да, да, да, подождем и посмотрим, как развернутся события. Прелестное место! Хорошая охота? Впрочем, вряд ли. Насколько мне известно, мистер Фэрли не устраивал на своих землях охотничьего заповедника. Все же прелестное место и милые люди. Вы рисуете и пишете акварелью, как я слышал? Завидный талант! В каком стиле?

Мы начали разговор на общие темы, вернее мистер Гилмор говорил, а я слушал. Но мои мысли были далеки от него и от тех предметов, на которые он изливал свое красноречие. Моя одинокая прогулка в течение последних двух часов возымела свое действие: мне хотелось теперь как можно скорее уехать из Лиммериджа. Зачем было продолжать эту попытку прощанья? Кому я был нужен здесь? Кому могли понадобиться мои услуги?

В моем дальнейшем пребывании в Кумберленде не было никакой необходимости, час отъезда не был установлен моим хозяином. Почему бы не покончить со всем этим сразу?

Я решил, что пора кончать. Оставалось еще несколько часов до темноты – откладывать мой отъезд в Лондон было ни к чему. Воспользовавшись первым предложением, чтобы извиниться перед мистером Гилмором, я вернулся в дом.

На пути в мою комнату я встретил мисс Голкомб. По моей поспешности она заметила, что я что-то задумал, и спросила, что случилось.

Я объяснил ей причины, побуждавшие меня ускорить мой отъезд, рассказал все в точности так, как рассказал об этом здесь.

– Нет, нет, – сказала она задушевно и серьезно. – Уезжайте как друг, откушайте с нами еще раз. Оставайтесь и пообедайте с нами. Оставайтесь и помогите нам провести наш последний вечер так же приятно, как мы провели с вами первый, если только это возможно. Это мое приглашение, приглашение миссис Вэзи... – Она замялась немного и продолжала: – А также приглашение Лоры.

Я обещал задержаться. Видит бог, у меня не было желания оставлять по себе печальную память в ком бы то ни было.

Самым приятным местом для меня до обеденного звонка была моя собственная комната. Я просидел там до обеда, а затем сошел вниз.

В течение целого дня я не говорил с мисс Фэрли и даже не видел ее. Первая встреча за весь день была тяжелым испытанием как для нее, так и для меня. Она тоже изо всех сил старалась, чтобы этот последний вечер был похож на наши прежние невозвратные золотые вечера. Она надела платье, которое мне нравилось больше других ее платьев, – из темно-синего шелка, просто и изысканно отделанное старинными кружевами. Она подошла ко мне с прежней приветливостью и подала мне руку с прежним прямотушием. Ее холодные пальцы дрожали в моей руке, на бледных щеках горели алые пятна, она пыталась улыбнуться, но улыбка угасла на ее устах, когда я взглянул на нее. Все говорило о том, каких усилий ей стоило казаться спокойной. Сердце мое и так принадлежало ей, но, если б это было возможно, я полюбил бы ее с этой минуты еще сильнее, чем прежде.

Мистер Гилмор очень выручил нас. Он был в превосходном настроении и занимал нас разговорами с неослабевающим воодушевлением. Мисс Голкомб отважно вторила ему, и я делал все возможное, чтобы следовать ее примеру. Нежные голубые глаза, выражение которых я так хорошо изучил, умоляюще посмотрели на меня, когда мы садились за стол. «Помогите моей сестре, – казалось, говорил ее встревоженный взгляд, – помогите ей, и вы поможете мне».

Внешне мы все выглядели за обедом вполне довольными и спокойными. Когда дамы поднялись из-за стола и мы с мистером Гилмором остались одни в столовой, новое небольшое событие заняло наше внимание и дало мне возможность успокоиться и помолчать в течение нескольких минут.

Слуга, которого послали в погоню за Анной Катерик и ее подругой, вернулся и пришел в столовую с докладом.

– Ну, – сказал мистер Гилмор, – что вы разузнали?

– Я выяснил, сэр, что эти женщины взяли билеты на здешней станции до Карлайля, – отвечал слуга.

– Узнав об этом, вы, конечно, отправились в Карлайль?

– Да, сэр. Но должен, к сожалению, признаться, что они как в воду канули, и я больше ничего о них не мог разузнать.

– Вы спрашивали в Карлайле, на станции?

– Да, сэр.

– И на постоянных дворах?

– Да, сэр.

– И оставили в полицейском участке заявление, которое я дал вам?

– Оставил, сэр.

– Ну что ж, друг мой, вы сделали все, что могли, и я сделал все, что мог; оставим пока это дело... Наши козыри биты, мистер Хартрайт, – продолжал, обращаясь ко мне, старый джентльмен, когда слуга удалился. – На сегодня женщины перехитрили нас и расстроили наши планы. Нам теперь остается только подождать до следующего понедельника, когда придет сэр Персиваль Глайд... Не налить ли вам еще вина? Хороший портвейн! Доброе, крепкое, старое вино. Хотя в моем погребе есть и получше.

Мы вернулись в гостиную, где я проводил счастливейшие вечера моей жизни и где был теперь в последний раз. С тех пор как похолодало и дни стали короче, гостиная выглядела совсем по-иному. Стеклопанная дверь на террасу была закрыта и завешена плотными портьерами. Вместо мягкого света сумерек, при котором мы, бывало, сидели, яркий свет лампы слепил теперь глаза.

Все стало иным, и внутри и снаружи, все изменилось.

Мисс Голкомб и мистер Гилмор сели за карточный стол, миссис Вэзи – в свое обычное кресло. Они могли располагать собой как хотели в этот вечер; тем сильнее чувствовал я свою скованность. Я видел, как мисс Фэрли медлила у рояля. Раньше для меня было так естественно подойти к ней. Теперь я был в нерешительности и не знал, к кому обратиться и что делать. Мисс Фэрли быстро взглянула на меня, взяла ноты с пюпитра и подошла ко мне.

– Не сыграть ли вам какую-нибудь из мелодий Моцарта, которые вам так нравились? – спросила она смущенно, открывая ноты и опустив глаза.

Прежде чем я успел поблагодарить ее, она поспешно вернулась к роялю. Стул подле него, на котором я, бывало, сидел, теперь никем не был занят. Она взяла несколько аккордов, взглянула на меня и посмотрела в ноты.

– Не сядете ли вы на ваше старое место? – спросила она отрывисто и тихо.

– Да, я посижу здесь на прощанье, – ответил я.

Она ничего не сказала. С сосредоточенным вниманием она разглядывала ноты, которые знала наизусть, которые играла столько раз в минувшие дни. Я понял, что она слышала мой ответ, понял, что она чувствует мое присутствие рядом с нею, когда увидел, как алые пятна на ее щеках погасли и лицо ее побледнело.

– Мне очень жаль, что вы уезжаете, – почти прошептала она, все пристальнее вглядываясь в ноты.

Пальцы ее летали по клавишам со странной лихорадочной энергией, которой я раньше не замечал в ее игре.

– Я буду помнить эти добрые слова, мисс Фэрли, спустя долгое время после того, как пройдет завтрашний день.

Ее лицо побледнело еще больше, и она почти совсем отвернулась от меня.

– Не говорите о завтрашнем дне, – сказала она тихо. – Пусть музыка говорит с нами сегодня вечером языком более выразительным, чем наш.

Губы ее задрожали, с них слетел легкий вздох, который она напрасно старалась заглушить. Ее пальцы нерешительно скользнули по клавишам, прозвучала фальшивая нота, она хотела поправиться, сбилась и бросила играть. Мисс Голкомб и мистер Гилмор удивленно подняли головы от карт, за которыми они сидели. Даже миссис Вэзи, дремавшая в кресле, проснулась от внезапной тишины и осведомилась, что случилось.

– Вы играете в вист, мистер Хартрайт? – спросила мисс Голкомб, значительно посмотрев на мой стул.

Я понял ее намек, я знал, что она права. Я сейчас же встал, чтобы подойти к карточному столу. Когда я отошел от рояля, мисс Фэрли перевернула нотную страницу и снова прикоснулась к клавишам, уже более уверенной рукой.

– Все-таки я сыграю это, – сказала она с каким-то восторгом, – я сыграю это в последний раз!

– Прошу вас, миссис Вэзи, – сказала мисс Голкомб, – мистеру Гилмору и мне надоело играть в экарте, – будьте партнером мистера Хартрайта в висте.

Старый адвокат насмешливо улыбнулся. Он выигрывал и как раз в это время предьявил короля. Внезапную перемену карточной игры он, очевидно, приписал тому, что дама не желала проигрывать.

В течение остального вечера мисс Фэрли не проронила ни слова, не бросила на меня ни единого взгляда. Она сидела за роялем, а я за карточным столом. Она играла непрерывно – играла так, будто искала в музыке спасения от самой себя. Временами пальцы ее касались клавиш с томительной любовью, с мягкой, замирающей нежностью, невыразимо прекрасной и печальной для слуха, временами они изменяли ей или торопились по клавишам механически, как если бы играть было им в тягость. И все же, как ни менялось то выражение, которое они передавали в музыке, они повиновались ей, не ослабевая ни на минуту. Она поднялась из-за рояля, только когда мы все встали, чтобы пожелать друг другу спокойной ночи.

Миссис Вэзи была ближе всех к двери – и первая пожала мне руку.

– Я больше не увижу вас, мистер Хартрайт, – сказала старая дама. – Я искренне сожалею, что вы уезжаете. Вы всегда были очень добры и внимательны ко мне, а я, как старая женщина, ценю доброту и внимание. Желаю вам всего наилучшего, сэр, желаю вам на прощанье счастья.

Следующим был мистер Гилмор.

– Надеюсь, мы будем иметь возможность продолжить наше знакомство в будущем, мистер Хартрайт. Вам понятно, что то небольшое дело находится в верных руках? Да, да, конечно. Бог мой, как холодно! Не буду задерживать вас у дверей. Счастливого пути, дорогой сэр, бон вояж, как говорят французы.

Подошла мисс Голкомб.

– Завтра утром, в половине восьмого, – а потом прибавила шепотом: – Я видела и слышала больше, чем вы думаете. Ваше поведение сегодня вечером сделало меня вашим другом на всю жизнь.

Мисс Фэрли была последней. Я боялся, что взгляд мой выдаст меня, и старался не смотреть на нее, когда взял ее руку в свою, думая о завтрашнем дне.

– Я уеду рано утром, – сказал я, – уеду, мисс Фэрли, прежде, чем вы...

– Нет, нет, – быстро перебила она, – не прежде, чем я встану. Я спущусь к завтраку с Мэриан. Я не настолько неблагодарна, чтобы забыть последние три месяца...

Голос изменил ей, рука ее тихо пожала мою и сразу отпустила. Не успел я сказать «доброй ночи», как она уже ушла.

Я быстро приближаюсь к концу моего рассказа, приближаюсь так же неизбежно, как наступил рассвет моего последнего утра в Лиммеридже.

Не было еще и половины восьмого, когда я спустился вниз, но обе они уже сидели за столом и ждали меня. В холоде, при тусклом освещении, в унылом утреннем безмолвии дома мы все трое сели за стол и старались есть, старались говорить. Но наши усилия были тщетны, и я встал, чтобы положить этому конец.

Когда я протянул руку и мисс Голкомб, стоявшая ближе ко мне, взяла ее, мисс Фэрли отвернулась и поспешно вышла из комнаты.

– Так лучше, – сказала мисс Голкомб, когда дверь закрылась. – Так лучше и для нее и для вас.

С минуту я не мог говорить. Тяжко было потерять ее без единого слова, без единого взгляда на прощанье. Я справился со своим волнением и постарался попрощаться с мисс Голкомб в подходящих выражениях, но слова, которые теснились во мне, свелись к единственной фразе: «Заслуживаю ли я, чтобы вы написали мне?» – вот было все, что я мог сказать.

– Вы по достоинству заслужили все, что я хотела бы для вас сделать, пока мы оба живы. Чем бы все это ни кончилось, вы будете об этом знать.

– И если когда-нибудь я смогу чем-то помочь вам, пусть через много лет, после того как изгладится память о моей дерзости и моем безрассудстве...

Я был не в силах продолжать. Голос мой упал, глаза были влажны...

Она схватила мои руки, пожала их крепко, уверенно, по-мужски, черные глаза ее сверкнули, щеки запылали, энергичное лицо ее просияло и сделалось прекрасным, озарившись внутренним светом великодушного сочувствия.

– Я полагаюсь на вас, и, если мы будем нуждаться в помощи, я позову вас как моего друга и ее друга, как моего и ее брата. – Она остановилась, подошла ближе – смелая, благородная женщина, по-сестрински дотронулась губами до моего лба и назвала меня по имени. – Да благославит вас Бог, Уолтер! – сказала она. – Подождите здесь и успокойтесь. Для вашей же пользы мне лучше уйти. Я посмотрю с балкона, как вы будете уезжать.

Она удалилась. Я подошел к окну, за которым не было ничего, кроме унылой осенней пустоты. Я должен был взять себя в руки, прежде чем навсегда покинуть эту комнату.

Не прошло и минуты, как вдруг дверь тихо отворилась, и я услышал шелест женского платья. Сердце мое забилось, я обернулся. Из глубины комнаты ко мне шла мисс Фэрли. Когда наши взгляды встретились и она поняла, что мы одни, она с минуту постояла в нерешительности. Потом с мужеством, которое женщины так редко проявляют в малых испытаниях и так часто – в больших, она подошла ко мне, бледная и странно тихая, пряча что-то в складках своего платья.

– Я пошла в гостиную, – сказала она, – чтобы взять это. Пусть это напомнит вам о пребывании у нас и о друзьях, которых вы здесь оставляете. Вы говорили мне, что я делаю успехи, и я подумала, что вам...

Она отвернула лицо и протянула мне свой рисунок – маленький летний домик, где мы встретились в первый раз. Рисунок дрожал в ее руке и задрожал в моей, когда я взял его.

Я боялся выдать свое чувство и только ответил:

– Я никогда с ним не расстанусь. Самым дорогим моим сокровищем на всю жизнь будет этот рисунок. Я благодарю вас за него, я благодарю вас за то, что вы не дали мне уехать, не попрощавшись с вами.

– О, – сказала она простодушно, – могла ли я не попрощаться с вами после того, как мы провели вместе столько счастливых дней!..

– Эти дни не вернутся никогда, мисс Фэрли, наши дороги в жизни лежат так далеко друг от друга. Но если когда-нибудь настанет время, когда преданность моего сердца и все силы мои смогут дать вам хоть минутное счастье или уберечь вас от минутного горя, вспомните о бедном учителе рисования. Мисс Голкомб обещала позвать меня – вы мне тоже это обещаете?

В ее нежных глазах сквозь слезы тускло мерцала печаль расставания.

– Я обещаю, – проговорила она прерывающимся голосом. – О, не смотрите на меня так! Я обещаю от всего сердца!

Я протянул ей руку:

– У вас много друзей, которые любят вас, мисс Фэрли. И все, кто любит вас, надеются, что вы будете счастливы. Можно ли сказать вам, что и я надеюсь на это?

Слезы градом катились по ее щекам. Одной рукой она оперлась на стол и протянула мне другую. Я взял ее, пожал крепко, голова моя склонилась к ее руке, слезы упали на нее, губы прижались к ней – не с любовью, о нет! – в эту последнюю минуту не с любовью, но с самозабвением отчаяния.

– Ради бога, оставьте меня, – слабо прошептала она.

Эти умоляющие слова открыли мне тайну ее сердца. Я не имел права слышать их, не имел права ответить на них. Во имя ее святой беззащитности эти слова заставляли меня немедленно уйти.

Все было кончено. Я выпустил ее руку из своей. Я ничего не сказал больше. Слезы, мои слезы, скрыли ее от меня, я смахнул их, чтобы взглянуть на нее в последний раз. Она упала в кресло, положила руки на стол и устало опустила на них голову. Последний прощальный

взгляд – и дверь за мной закрылась, пучина разлуки разверзлась между нами – образ Лоры Ферли стал памятью прошлого.

Рассказ продолжает Уинсент Гилмор из Ченсери-Лейн, поверенный семьи Фэрли

I

Я пишу эти строки по просьбе моего друга Уолтера Хартрайта. Их назначение: запечатлеть некоторые события, причинившие серьезный ущерб интересам мисс Фэрли и происшедшие уже после отъезда мистера Хартрайта из Лиммериджа.

Нет нужды упоминать здесь о том, каково мое личное мнение по поводу обнаружения этой достопримечательной семейной истории. Часть оной будет рассказана в моем повествовании. Мистер Хартрайт взял на себя ответственность за это обнаружение, и, как будет явствовать из обстоятельств, мною описываемых, он вполне заслужил право поступать в данном случае по своему усмотрению. Дабы эта история наиболее правдивым и занимательным образом стала известна читателям, необходимо, чтобы ее рассказывали по ходу дела именно те лица, которые были непосредственно замешаны в происшедших событиях. Вот почему я появляюсь здесь в качестве рассказчика.

Я присутствовал при временном пребывании сэра Персиваля Глайда в Кумберленде и принимал участие в одном важном деле, которое явилось следствием его недолгого присутствия в доме мистера Фэрли. А посему мой долг прибавить новые звенья к цепи событий и подхватить самую цепь в том месте, где на сегодняшний день мистер Хартрайт выпустил ее из рук.

В пятницу второго ноября я прибыл в Лиммеридж.

Я намеревался дожидаться приезда сэра Персиваля. Если бы в результате его визита была назначена дата свадьбы сэра Персиваля с мисс Фэрли, я должен был, получив соответствующие указания, вернуться в Лондон и заняться составлением брачного контракта для молодой леди.

Мистер Фэрли не соблаговолил принять меня в пятницу. В течение многих лет он был или, вернее, воображал себя инвалидом и посему велел передать мне, что недостаточно здоров, чтобы повидаться со мной.

Первой из членов семьи, с кем я встретился, была мисс Голкомб. Она приветствовала меня у дверей дома и представила мне мистера Хартрайта, который в течение некоторого времени проживал в Лиммеридже.

Мисс Фэрли я увидел только за обедом. Я огорчился, заметив, что она выглядит не столь хорошо, как раньше. Она прелестная, милая девушка, такая же внимательная и добрая, как была ее мать, но, между нами, она больше походит на своего отца. У миссис Фэрли были темные глаза и волосы. Ее старшая дочь мисс Голкомб мне ее очень напоминает. Мисс Фэрли играла нам вечером на рояле, но, по-моему, хуже, чем обычно. В вист мы сыграли всего один роббер, что было лишь профанацией этой благородной игры. Мистер Хартрайт произвел на меня весьма приятное впечатление при первом знакомстве, но вскоре я убедился, что и он не свободен от недостатков, присущих его возрасту. Теперешние молодые люди не умеют трех вещей: посидеть за вином, играть в вист и сделать даме комплимент. Мистер Хартрайт не был исключением из общего правила. Впрочем, в других отношениях даже тогда, при первом знакомстве, он показался мне скромным и весьма порядочным молодым человеком.

Так прошла пятница. Я не буду говорить здесь о более серьезных вопросах, которые занимали меня в тот день: об анонимном письме к мисс Фэрли, о мерах, которые я счел

нужным принять в связи с этим, и о моей полной уверенности, что сэръ Персиваль Глайд с готовностью представит исчерпывающие объяснения по поводу этого неприятного случая.

В субботу мистер Хартрайт уехал раньше, чем я сошел к завтраку. Мисс Фэрли весь день не выходила из своей комнаты. Мисс Голкомб, по-моему, была не в духе. Дом был уже не тот, что при мистере и миссис Филипп Фэрли. Днем я пошел погулять и повидать те места, которые впервые увидел лет тридцать назад, когда был приглашен в Лиммеридж в качестве поверенного по делам семьи. Все выглядело уже не таким, как прежде.

В два часа мистер Фэрли прислал сказать, что чувствует себя достаточно хорошо, чтобы принять меня. Вот он-то как раз совсем не изменился с тех пор, как я его знал. Он, как всегда, говорил только о себе – о своих нервах, о своих замечательных древних монетах и о бесподобных офортах Рембрандта. Как только я заговорил о делах, из-за которых приехал, он закрыл глаза и заявил, что я «утомляю» его. Но я все-таки продолжал «утомлять» его, снова и снова возвращаясь к главной теме нашего разговора. Мне пришлось убедиться, что он смотрит на предстоящий брак своей племянницы как на решенный вопрос; сам он соизволил давно на него согласиться; это был выгодный брак, и лично он будет чрезвычайно рад, когда все беспокойства, связанные с этим, окажутся уже позади. Что касается брачного контракта – насчет этого я мог посоветоваться с его племянницей и почерпнуть сведения из собственного знакомства с делами семьи. Я обязан подготовить брачный контракт сам, а его роль опекуна свести до минимума. Вообще все, что он мог бы сделать, сводилось к тому, чтобы произнести «да» в нужную минуту. Во всем остальном он был готов, пальцем не пошевелив, самоотверженно пойти навстречу и мне и всем другим «с бесконечным наслаждением». Разве я не вижу, что передо мной немощный страдалец, навеки пригвожденный к одру болезни? Неужели он заслуживает, чтобы ему докучали? Нет. Так зачем же ему докучать?

Если б я не был досконально знаком с делами семьи, я, вероятно, удивился бы такому полному безразличию со стороны мистера Фэрли. Но я прекрасно помнил, что мистер Фэрли холост и заинтересован в поместье и доходах с него только пожизненно. Учитывая все это, я не был ни удивлен, ни огорчен результатами нашей встречи. Мистер Фэрли вполне оправдал мои ожидания, вот и все.

Воскресенье прошло очень скучно. Я получил письмо от поверенного сэра Персиваля Глайда, подтверждающее получение пересланной ему копии анонимного письма и моего заявления.

Мисс Фэрли вышла к нам днем бледная и печальная. Она выглядела совсем другой, чем была раньше. Я немного поговорил с ней и попытался коснуться вопроса о сэре Персивале. Она слушала молча. Охотно поддерживая разговор на другие темы, она уклонилась от этой. Я подумал, не жалеет ли она о своей помолвке, как это часто бывает с молодыми леди, когда поздно уже отступить.

Сэр Персиваль Глайд приехал в понедельник.

Он показался мне весьма привлекательным и внешностью и манерами. Он выглядел несколько старше, чем я ожидал; рано облысевшая спереди голова и немного утомленное лицо старили его. Но он был оживлен и подвижен, как молодой человек. Его встреча с мисс Голкомб была очаровательной – сердечной и непринужденной. Когда ему представили меня, он оказал мне такой любезный прием, что мы сразу почувствовали себя как старые знакомые. Мисс Фэрли не присутствовала, когда его встречали. Она вошла к нам минут десять спустя. Сэр Персиваль поднялся и приветствовал ее чрезвычайно учтиво. Очевидно, он был очень огорчен, что молодая леди плохо выглядит, и вел себя с ней так нежно и почтительно, с такой неприятельной деликатностью, что это делало честь как его воспитанности, так и здравому смыслу. Поэтому я никак не мог понять, почему мисс Фэрли выглядела в его присутствии смущенной и подавленной и воспользовалась первой же возможностью уйти

из комнаты. Сэр Персиваль, казалось, не заметил ее сдержанности при встрече с ним и ее поспешного бегства. Пока она была с ним – он не навязывал ей своего внимания, а когда она ушла, не смутил мисс Голкомб никакими замечаниями по поводу ее ухода. За все время моего пребывания вместе с ним в Лиммеридже его такт и воспитанность всегда были на высоте.

Как только мисс Фэрли покинула комнату, он сам заговорил об анонимном письме, избавив нас от этой неприятной необходимости. Он заехал в Лондон по пути из Хемпшира, повидал своего поверенного, прочитал документы, пересланные мной, и поспешил в Кумберленд, желая как можно скорее дать нам самые полные и удовлетворительные объяснения. Услышав, в каких выражениях он говорил об этом, я предложил ему прочитать подлинник письма, которое я сохранил для него. Он поблагодарил меня и отказался взглянуть на письмо, говоря, что поскольку он видел копию, то охотно оставит оригинал в наших руках.

Затем он сделал нам заявление, которое было именно таким, как я ожидал.

Миссис Катерик, сказал он, в прошлом оказала много услуг членам его семьи и ему самому, и потому он считал себя некоторым образом в долгу у нее. Она была несчастна вдвойне, ибо была замужем за человеком, который ее оставил, и имела ребенка, чьи умственные способности были в расстроенном состоянии с самых малых лет. После свадьбы миссис Катерик переехала в ту часть Хемпшира, которая находилась далеко от имения сэра Персиваля, но он не захотел терять ее из виду. Его хорошее отношение к этой бедной женщине в благодарность за ее преданность его семье только возросло, когда он узнал, с каким терпением и мужеством она переносила ниспосланные ей несчастья. С течением времени признаки полного расстройства рассудка ее несчастной дочери стали настолько явными, что необходимо было поместить ее под медицинский надзор. Миссис Катерик признала это необходимым сама, но в то же время в силу предрассудков, понятных в столь почтенной женщине, она ни в коем случае не хотела, чтобы ее дочь попала, как нищая, в общественную больницу. Сэр Персиваль, уважая этот предрассудок, как он вообще уважает всякое проявление независимости в людях всех классов общества, решил выразить свою благодарность за преданность миссис Катерик к его семье, взяв на себя расходы по содержанию ее дочери в прекрасной частной лечебнице. К великому огорчению и ее матери и его самого, несчастная каким-то образом узнала, что он принимал участие в ее водворении в лечебницу, и прониклась к нему неприязнью, которая дошла до лютой ненависти. Одним из последствий этой ненависти и подозрительности, принимавших у нее разные формы еще в лечебнице, было анонимное письмо, написанное ею после побега из сумасшедшего дома.

Если мисс Голкомб и мистер Гилмор, которые помнят содержание анонимного письма, находят, что его объяснения нельзя считать исчерпывающими или захотели бы узнать дополнительные подробности о лечебнице (адрес он упомянул, так же как и фамилии двух докторов, давших заключение, на основании которого пациентка была принята в сумасшедший дом), он готов ответить на любой вопрос и пролить свет на любую неясность. Он исполнил свой долг в отношении несчастной, дав указания своему поверенному найти ее и снова поместить под медицинский присмотр. Он чрезвычайно желал исполнить теперь свой долг по отношению к мисс Фэрли и ее семье так же прямодушно и честно.

Я был первым, кто ответил ему. Мой собственный долг был для меня ясен. В том-то и состоит красота юриспруденции, что она может оспаривать любое заявление любого человека, при каких бы обстоятельствах и в какой бы форме оно ни было сделано.

Если бы мне официально предложили возбудить дело против сэра Персиваля Глайда на основании его собственного заявления, я несомненно мог бы это сделать. Но долг мой состоял не в этом. Мои обязанности в данном случае были чисто юридическими. Я должен был взвесить объяснение, только что выслушанное нами, учитывая высокое общественное положение и безупречную репутацию джентльмена, представившего нам это объяснение. Я должен был честно решить, были ли обстоятельства, изложенные сэром Персивалем, за

него или против него. Лично я был глубоко убежден, что они были за него; сообразно с этим я объявил во всеуслышание, что с моей точки зрения его объяснение является бесспорно исчерпывающим.

Устремив на меня серьезный взгляд, мисс Голкомб сказала со своей стороны несколько слов в том же роде, однако как-то неуверенно, что, по-моему, было не совсем уместно и оправданно. Я не могу с достоверностью сказать, заметил ли это сэра Персиваль или нет. Думаю, что заметил, ибо он снова вернулся к предмету нашей беседы, хотя с полным правом мог уже не касаться его.

– Если бы я излагал все эти факты только перед мистером Гилмором, – сказал он, – я считал бы дальнейшее упоминание об этом печальном случае неуместным. Я знаю, что мистер Гилмор, как джентльмен, поверил бы мне на слово и обсуждение этой темы было бы закончено. Но с дамой я должен вести себя иначе и считаю своим долгом сделать для нее то, чего не сделал бы ни для одного мужчины: представить ей доказательства, подтверждающие истину моих слов. Вам неудобно просить у меня такие доказательства, мисс Голкомб, поэтому мой долг по отношению к вам и в особенности к мисс Фэрли самому представить их. Покорнейше прошу вас немедленно написать миссис Катерик, матери этой несчастной женщины, с просьбой подтвердить то объяснение, которое я дал вам сейчас.

Я увидел, что мисс Голкомб изменилась в лице, по-видимому, ей стало неловко. Предложение сэра Персиваля, хотя он и сделал его чрезвычайно любезно, очевидно, показалось ей (как и мне) намеком, весьма тонким, что он заметил неуверенность, которая сквозила в ней несколько минут назад.

– Надеюсь, сэра Персиваль, вы не настолько несправедливы ко мне, чтобы заподозрить меня в недоверии к вам? – быстро сказала она.

– Конечно, нет, мисс Голкомб, я предложил сделать это только в знак моего уважения к вам. Простите ли вы мое упрямство, если я все-таки буду настаивать на своем?

С этими словами он подошел к письменному столу, придвинул к нему стул и открыл ящик с письменными принадлежностями.

– Прошу вас, напишите короткую записку из любезности ко мне. Это отнимет у вас всего несколько минут. Вы можете задать миссис Катерик два вопроса: была ли ее дочь помещена в сумасшедший дом с ее ведома и одобрения? Второе: заслуживало ли мое участие в этом деле ее благодарности? У мистера Гилмора уже не осталось сомнений, у вас – тоже, но успокойте мои собственные сомнения и напишите эту записку!

– Вы заставляете меня уступить вашей просьбе, сэра Персиваль, хотя я предпочла бы отказать вам. – С этими словами мисс Голкомб встала со стула и подошла к письменному столу.

Сэр Персиваль поблагодарил ее, подал ей перо и отошел к камину. Маленькая левретка мисс Фэрли лежала на ковре перед камином. Он протянул к ней руку и добродушно поманил собаку.

– Подойди, Нина, – сказал он. – Мы с тобой помним друг друга, правда?

Маленькая собачонка, трусливая, капризная, какими обычно бывают эти избалованные собачки, злобно огрызнулась на него, отпрянула от его руки, зарычала, задрожала и забилась под кушетку. Трудно предположить, чтобы такой пустяк, как прием, оказанный ему собакой, мог вывести сэра Персиваля из равновесия, однако я заметил, что он сразу же быстро отошел к окну. Возможно, временами он бывает вспыльчив. Если так, то я ему сочувствую. Я тоже иногда могу вспылить.

Мисс Голкомб недолго писала записку. Закончив ее, она встала и подала ее сэру Персивалю. Он поклонился, взял записку, тут же, не читая, сложил ее, запечатал, надписал адрес и вернул ей. Это было сделано с такой учтивостью и с таким достоинством, что, право, ничего подобного я в жизни не видывал!

– Вы настаиваете, чтобы я отослала письмо, сэр Персиваль? – спросила мисс Голкомб.
– Умоляю вас об этом, – отвечал он. – А теперь, когда письмо написано и запечатано, разрешите задать вам один или два вопроса относительно несчастной женщины, которой оно касается. Я прочитал заявление мистера Гилмора, любезно посланное им моему поверенному, с описанием обстоятельств, при которых была установлена личность автора анонимного письма. Но есть подробности, о которых не упомянуто. Виделась ли Анна Катерик с мисс Фэрли?

– Конечно нет.

– А с вами, мисс Голкомб?

– Нет.

– Она не видела никого из домашних, кроме некоего мистера Хартрайта, который случайно встретил ее на здешнем кладбище?

– Никого больше.

– Мистер Хартрайт был в Лиммеридже, кажется, в качестве учителя рисования? Он принадлежит к одному из художественных обществ?

– По-моему, да, – отвечала мисс Голкомб.

Он помолчал с минуту, как будто обдумывая этот ответ, а затем прибавил:

– Вы выяснили, где жила Анна Катерик, когда была здесь?

– Да. На ферме Тодда.

– Найти ее – наш общий долг по отношению к этой несчастной, – продолжал сэр Персиваль. – Возможно, она сказала на ферме что-нибудь такое, что поможет нам узнать, где она сейчас. При случае я прогуляюсь туда и порасспрошу их. А пока что, могу ли я просить вас, мисс Голкомб, чтобы вы были столь любезны и передали мисс Фэрли мои объяснения – мне самому слишком тягостно касаться этой неприятной темы, – конечно, когда вы получите ответ от миссис Катерик.

Мисс Голкомб обещала исполнить его просьбу. Он поблагодарил ее, любезно поклонился и оставил нас, чтобы отдохнуть в своих комнатах. Когда он открывал дверь, злая левретка высунула свою острую мордочку из-под кушетки и залаяла на него.

– Мы хорошо потрудились, мисс Голкомб, – сказал я, когда мы остались одни. – Все хорошо, что хорошо кончается.

– Да, безусловно, – отвечала она. – Я рада, что ваши опасения рассеялись.

– Мои! Но после того как вы написали такое письмо, и ваши тоже, надеюсь!

– О да, разве может быть иначе? Я знаю, это невозможно, но мне так хотелось бы, – продолжала она, говоря больше сама с собой, чем со мной, – чтобы Уолтер Хартрайт был еще здесь, присутствовал при этом объяснении и слышал, как мне предложили написать это письмо...

Ее последние слова меня удивили и, пожалуй, даже обидели.

– Мистер Хартрайт безусловно принимал самое живое участие в деле с анонимным письмом, – сказал я, – и я готов признать, что в целом он вел себя весьма осмотрительно и благоразумно, но я никак не могу понять, каким образом его присутствие могло бы изменить то впечатление, которое произвели на нас с вами слова сэра Персиваля.

– Просто мне показалось... – отвечала она рассеянно. – Нет нужды спорить, мистер Гилмор. Вам лучше знать. Принимая во внимание ваш жизненный опыт, лучшего руководителя я не могла бы и желать.

Мне не очень понравилось, что она явно перекладывает всю ответственность на мои плечи. Я бы не удивился, если б это сделал мистер Фэрли, но я никак не ожидал, чтобы умная и решительная мисс Голкомб стала уклоняться от того, чтобы высказать собственное мнение.

– Если вас беспокоят еще какие-то сомнения, почему вы немедленно не скажете мне о них? – сказал я. – Скажите прямо: есть у вас причины не верить сэру Персивалю Глайду?

– Никаких.

– Может быть, что-то в его объяснении показалось вам противоречивым или несообразным?

– Что я могу сказать после того, как он дал мне неопровержимое доказательство, что говорит правду? Разве у него может быть лучший свидетель, чем мать этой женщины, мистер Гилмор?

– Лучшего свидетеля и быть не может, конечно. Если ответ на ваше письмо будет удовлетворительным, лично я не могу понять, каких еще объяснений мог бы требовать от сэра Персиваля любой человек, доброжелательно к нему настроенный.

– В таком случае, отошлем письмо, – сказала она, вставая, чтобы выйти из комнаты. – Не будем больше говорить об этом, пока не получим ответа. Не обращайтесь на мою неуверенность. Я могу ее объяснить только тем, что слишком тревожилась за Лору последнее время, а тревога, мистер Гилмор, может вывести из равновесия самого сильного из нас.

Она поспешно вышла из комнаты. Ее обычно такой уверенный голос дрогнул на последних словах. Тонкая, горячая, страстная натура – женщина, каких редко встретишь в наш пошлый, поверхностный век. Я знал ее с юных лет, я наблюдал ее по мере того, как она росла, я видел, как она вела себя во времена разных семейных передраг, и мое длительное знакомство с ней заставляло меня тем внимательнее относиться к ее неуверенности, чего я, конечно, не сделал бы, будь на ее месте другая женщина. Я не видел никакого основания для колебаний или каких-либо сомнений, но все же мне стало чуть-чуть не по себе, и я встревожился. В молодости я бы горячился и досадовал на собственное непонятное настроение, но к старости я стал умнее и по-философски решил рассеяться, то есть пойти прогуляться.

II

За обедом все мы снова встретились.

Сэр Персиваль был в таком безудержно веселом настроении, что я с трудом узнавал в нем того самого человека, чей спокойный такт, воспитанность и уравновешенность произвели на меня столь сильное впечатление при утреннем свидании. Он вел себя по-прежнему, мне кажется, только в отношении мисс Фэрли. Одного ее взгляда или слова было достаточно, чтобы приковать к себе его внимание и прервать самый громкий его смех, самый остроумный поток его речи. Хотя он ни разу не пытался открыто втянуть ее в разговор, он не упускал возможности сделать это как бы случайно, при малейшем поводе с ее стороны. Меня удивляло, что, хотя мисс Фэрли, по-видимому, замечала его внимание, оно ее не трогало и она оставалась безучастной. Время от времени она слегка смущалась, когда он смотрел на нее или обращался к ней, но не становилась теплее, приветливее. Знатность, богатство, прекрасное воспитание, прекрасная внешность, глубокое уважение джентльмена и преданность любящего человека, – все было смиренно положено к ее ногам и, по-видимому, понапрасну.

На следующий день, во вторник, сэр Персиваль, взяв в прожатые одного из слуг, пошел утром на ферму Тодда. Его расспросы, как я узнал позднее, ни к чему не привели. По возвращении он имел беседу с мистером Фэрли, а днем ездил кататься верхом с мисс Голкомб. Вот все, что произошло за этот день. Вечер прошел как обычно. Никакой перемены ни в сэре Персивале, ни в мисс Фэрли.

В среду утром произошло следующее событие – почта доставила нам ответ миссис Катерик. Я снял копию с этого документа, которую здесь и помещаю. Написано было следующее:

*«Сударыня, честь имею известить Вас, что я получила письмо, в котором Вы запрашиваете, была ли моя дочь Анна отдана под медицинский присмотр с моего ведома и согласия и было ли участие сэра Персиваля Глайда в этом деле таковым, чтобы заслужить мою благодарность к этому джентльмену. Прошу Вас принять мой утвердительный ответ на оба эти вопроса. Остаюсь Вашей покорной слугой
Джейн-Анна Катерик».*

Сухо, коротко и ясно. По форме – довольно деловое письмо для женщины, по существу – полное подтверждение слов сэра Персиваля. Лучшего и желать было нельзя. Таково было мое мнение и до некоторой степени мнение мисс Голкомб. Сэр Персиваль, когда ему показали письмо, казалось, не был удивлен его сухостью и краткостью. Он сказал, что миссис Катерик немногословная женщина, здравомыслящая и прямая, но лишенная всякого воображения, которая пишет так же коротко и ясно, как и говорит.

Теперь, когда мы получили ответ, следовало познакомить мисс Фэрли с объяснением сэра Персиваля. Мисс Голкомб взяла это на себя и вышла было уже из комнаты, чтобы идти к сестре, но внезапно вернулась и села рядом со мной. Я сидел в кресле и читал газету. За минуту до этого сэр Персиваль пошел осматривать конюшни, и в комнате, кроме нас, никого не было.

– Мы действительно сделали все, что могли? – сказала она, теребя в руках письмо миссис Катерик.

– Мы сделали все и даже больше, чем это было нужно, если мы друзья сэра Персиваля, которые знают его и верят ему, – ответил я, слегка раздосадованный тем, что ее опасения вернулись. – Но если мы враги ему и подозреваем его...

– Нет, нет, об этом не может быть двух мнений! – возразила она: – Мы друзья сэра Персиваля, и, если великодушие и снисходительность заслуживают уважения, мы должны были бы восхищаться им сейчас. Вы знаете, что вчера он виделся с мистером Фэрли, а потом ездил кататься верхом со мной?

– Да, я видел вас.

– Сначала мы говорили об Анне и об удивительной встрече с ней мистера Хартрайта. Но вскоре мы оставили эту тему, и сэр Персиваль заговорил о своей помолвке с Лорой, проявив при этом полное бескорыстие. Он сказал, что заметил ее плохое настроение и готов отнести перемену ее отношения к нему за счет всего случившегося. Но если к этому есть более серьезные причины, он умоляет, чтобы ни мистер Фэрли, ни я ни в чем ее не принуждали. Он только просит в последний раз напомнить ей, при каких обстоятельствах состоялось их обручение и как он вел себя в продолжение всего этого времени. Если, поразмыслив над этим, она серьезно пожелает, чтобы он перестал питать надежду стать ее мужем, если она сама, своими устами скажет ему об этом, он пожертвует собой, предоставив ей полную свободу взять обратно свое обещание.

– Ни один человек не мог бы сказать больше, мисс Голкомб. Я по опыту знаю, что не многие мужчины поступили бы так на его месте.

Она помолчала в ответ и посмотрела на меня со странным, тревожным и скорбным выражением.

– Я никого не обвиняю и ничего не подозреваю! – внезапно разразилась она. – Но я не хочу и не возьму на себя ответственность убеждать Лору в необходимости этого брака.

– Именно об этом вас и просил сэр Персиваль, – возразил я с удивлением. – Он умолял вас ни к чему ее не принуждать.

– И в то же время он заставляет меня делать это, передавая ей его слова.

– Каким образом?

– Вы знаете характер Лоры, мистер Гилмор! Если я скажу ей, что она должна вспомнить о том, как происходило ее обручение, тем самым я взываю к двум сильнейшим ее чувствам: к ее любви к отцу и к ее неизменной честности. Вы знаете, что никогда в жизни она не нарушила ни одного обещания – она стала считать себя помолвленной со времени роковой болезни своего отца. Умирая, отец взял с нее слово, что она станет женой сэра Персиваля Глайда.

Признаюсь, ее точка зрения немного встревожила меня.

– Вы, очевидно, хотите сказать, что, когда сэр Персиваль говорил с вами вчера, он рассчитывал именно на то, на что вы сейчас намекаете?

Ее открытое, бесстрашное лицо ответило мне за нее.

– Неужели вы думаете, что я хоть на минуту осталась бы в присутствии человека, которого могла бы заподозрить в такой низости? – гневно спросила она.

Мне понравилось ее прямодушное негодование. По роду нашей профессии мы так часто встречаемся со злобой и так редко – с негодованием!

– В таком случае, – сказал я, – простите, если я скажу на нашем юридическом языке: вы переходите границы дозволенного. Какими бы ни были последствия, но сэр Персиваль вправе ожидать, чтобы ваша сестра обстоятельно поразмыслила над своим обязательством, прежде чем нарушить его. Если ее восстановило против него это несчастное письмо, немедленно пойдите и скажите ей, что он совершенно оправдался в моих и ваших глазах. Какие еще у нее могут быть возражения против брака с ним? Чем может она объяснить свое изменившееся отношение к человеку, на брак с которым она сама дала согласие два года назад?

– С точки зрения закона и рассудка, мистер Гилмор, ничем, вероятно. Если мы обе колеблемся, вы можете приписать наше странное поведение капризу, и мы постараемся как-нибудь перенести это. – С этими словами она поднялась и ушла.

Когда здравомыслящая женщина уклоняется от прямого ответа на заданный ей вопрос, в девяноста девяти случаях из ста это значит, что она что-то скрывает. Я снова начал читать газету, твердо убежденный, что у мисс Голкомб и мисс Фэрли есть какой-то секрет, который они скрывают от сэра Персиваля и меня. Это было нехорошо по отношению ко мне и особенно по отношению к сэру Персивалю.

Позднее в этот день мои догадки или, лучше сказать, моя уверенность подтвердилась поведением мисс Голкомб, когда мы снова встретились с нею. В сдержанных выражениях она подозрительно кратко сообщила мне о своем разговоре с мисс Фэрли. По-видимому, мисс Фэрли отнеслась совершенно спокойно к объяснению по поводу письма, но, когда мисс Голкомб начала говорить, что сэр Персиваль приехал в Лиммеридж, чтобы просить ее назначить день свадьбы, она попросила не упоминать об этом больше и дать ей повременить. Если бы сэр Персиваль согласился оставить ее сейчас в покое, она ручалась, что даст ему окончательный ответ до конца года. Она умоляла об этой отсрочке с таким жаром и волнением, что мисс Голкомб обещала сделать все от нее зависящее, чтобы помочь ей в этом. Таким образом, по настойчивой просьбе мисс Фэрли дальнейшее обсуждение вопроса о свадьбе было закончено.

Эта временная отсрочка, возможно, очень устраивала молодую леди, но ставила меня в затруднительное положение. Утром я получил письмо от своего компаньона, обязывающее меня вернуться в город на следующий день. По всей вероятности, в этом году я не смог бы вторично приехать в Лиммеридж. В таком случае, если бы мисс Фэрли окончательно решилась на замужество, мы с ней не увиделись бы до заключения брачного контракта, и нам пришлось бы вести переписку по поводу вопросов, которые должны были обсуждаться только устно при личном свидании. Я ничего не сказал об этих трудностях, пока с сэром Персивалем не переговорают по поводу предполагаемой отсрочки. Он был слишком любезным джентльменом, чтобы не пойти навстречу желаниям мисс Фэрли. Когда мисс Голкомб уведомила

меня об этом, я сказал ей, что мне совершенно необходимо переговорить с ее сестрой до моего отъезда из Лиммериджа. Мы условились, что я увидаю мисс Фэрли на следующее утро в ее гостиной. Она не сошла к обеду и не присоединилась к нам вечером под предлогом нездоровья. По-моему, сэру Персивалю это было неприятно.

На следующее утро сразу же после завтрака я поднялся в гостиную к мисс Фэрли. Бедная девушка была очень грустна и бледна, но встретила меня так ласково и приветливо, что я не смог прочесть ей нотацию, которую составил, идя наверх. Ее любимая левретка была в комнате, и я предполагал, что она станет рычать и бросаться на меня. Как это ни странно, капризная собачонка не оправдала моих опасений, прыгнув мне на колени и уткнув свою острую мордочку в мою руку, как только я опустился в кресло.

– Когда вы были маленькая, дитя мое, вы часто сидели у меня на коленях, – сказал я, – а теперь ваша собачка, очевидно, решила наследовать опустевший трон после вас... Этот прелестный рисунок – ваш? – Я показал на лежавший подле нее на столе альбом, который она рассматривала, когда я вошел.

На открытой странице был изображен акварелью какой-то пейзаж, отлично выполненный. О нем-то я и спросил ее. Вопрос был пустячным. Но не мог же я сразу приступить к разговору о делах!

– Нет, – сказала она, смущенно отводя глаза от рисунка. – Это рисовала не я.

Я помнил, что у нее с детских лет была привычка постоянно теревить в руках первую попавшуюся вещь, когда с ней кто-нибудь разговаривал. На этот раз ее рука потянулась к альбому и начала рассеянно теревить поля рисунка. Выражение грусти стало еще явственнее на ее лице.

Она не смотрела ни на меня, ни на альбом. Глаза ее смущенно блуждали по комнате; по-видимому, она догадывалась, о чем я пришел говорить с ней. Увидев это, я решил приступить к делу без проволочки.

– Я хочу попрощаться с вами, моя дорогая. Это одна из причин, по которой я пришел к вам сегодня, – начал я. – Я должен немедленно вернуться в Лондон, но, прежде чем уехать, я хочу переговорить с вами по поводу ваших дел.

– Мне очень жаль, что вы уезжаете, мистер Гилмор, – сказала она, ласково глядя на меня. – Когда вы здесь, я вспоминаю о счастливых прошлых днях.

– Надеюсь, я приеду и напомню вам об этих днях снова, – продолжал я. – Но ввиду того, что есть некоторая недоговоренность относительно вашего будущего, мне придется воспользоваться нашим сегодняшним свиданием и поговорить с вами о делах. Я ваш старый друг и поверенный и должен напомнить вам, надеюсь ничем вас не обижая, о возможности вашего брака с сэром Персивалем Глайдом.

Она отдернула руку от альбома, будто обожглась о него. Она сжала руки на коленях, опустила глаза, и на лице ее отразилась подавленность, граничащая с отчаянием.

– Неужели так необходимо говорить о моем замужестве? – спросила она тихо.

– Необходимо коснуться этого вопроса, не задерживаясь на нем, – сказал я. – Давайте скажем просто, что вы можете выйти замуж, а можете и не выйти замуж. В первом случае я должен заранее подготовить ваш брачный контракт. Я не могу сделать этого, не посоветовавшись с вами хотя бы из вежливости. Пожалуй, у меня сегодня единственная возможность услышать лично от вас, чего вы хотели бы. Разрешите мне поэтому изложить в немногих словах теперешнее положение ваших дел и в каком они будут состоянии, если вы, предположим, выйдете замуж.

Я объяснил ей назначение брачного контракта и потом с абсолютной точностью рассказал ей, каковы ее перспективы, во-первых, к моменту ее совершеннолетия, а во-вторых, после смерти ее дядюшки, подчеркивая различие между поместьем, которым она будет владеть пожизненно, и капиталом, которым сможет распорядиться самостоятельно. Она внима-

тельно слушала с прежним выражением подавленности, по-прежнему нервно сжимая руки на коленях.

– А теперь, – закончил я, – скажите мне, что именно хотелось бы вам обусловить в брачном контракте – в том случае, если он понадобится. Конечно, с одобрения вашего опекуна и принимая во внимание, что вы еще несовершеннолетняя.

Она беспокойно подвинулась на стуле, а потом вдруг очень серьезно посмотрела на меня.

– Если это произойдет, – проговорила она упавшим голосом, – если я...

– Если вы выйдете замуж, – пришел я ей на помощь.

– Не разлучайте меня с Мэриан! – вскричала она с внезапной энергией. – О мистер Гилмор, пусть в контракте будет условие, что Мэриан останется жить со мной!

При других обстоятельствах мне, может быть, показалось бы смешным это женское толкование сего делового вопроса после моего подробного объяснения, но взгляд ее и тон были таковы, что я серьезно встревожился. Ее немногие слова выдавали, как сильно она цеплялась за прошлое, – это было дурным предзнаменованием для будущего.

– Вы можете очень легко частным образом договориться о том, чтобы мисс Голкомб жила с вами, – сказал я. – Вы, кажется, не поняли моего вопроса. Он касается вашего капитала и того, как вы хотите распорядиться вашими деньгами. Предположим, что, когда вы достигнете совершеннолетия, вы захотите составить завещание. Кому вы хотели бы оставить ваши деньги?

– Мэриан была мне сестрой и матерью, – сказала добрая, любящая девушка, и ее прелестные голубые глаза засияли при этих словах. – Можно мне оставить их Мэриан, мистер Гилмор?

– Конечно, душа моя, – отвечал я. – Но вспомните, какая это большая сумма. Вы хотите отдать все мисс Голкомб?

Она заколебалась, побледнела, потом покраснела, и рука ее снова потянулась к альбому.

– Не все, – сказала она, – есть еще кто-то, кроме Мэриан... – Она замолчала, и пальцы ее начали выстукивать на полях альбома какую-то любимую мелодию.

– Вы хотите сказать, есть еще какой-то родственник, помимо мисс Голкомб? – подсказал я ей, видя, что она затрудняется продолжать.

Лицо ее вдруг вспыхнуло, пальцы судорожно и крепко сжали альбом.

– Есть еще кто-то, – сказала она, не обратив внимания на мои последние слова, хотя, по-видимому, слышала их, – есть человек, которому, наверно, было бы приятно получить что-нибудь в знак памяти. Что в этом плохого, если я умру первая...

Она опять замолкла. Румянец внезапно вспыхнул на ее лице и так же быстро погас. Рука задрожала и отодвинулась от альбома. Она молча посмотрела на меня, потом отвернулась. Когда она сделала легкое движение, ее платок упал на пол, и вдруг она закрыла лицо руками.

Грустно было мне, помня ее радостным, счастливым ребенком, смеющимся по целым дням, увидеть ее теперь, в расцвете юности и красоты, такой разбитой и страдающей.

Огорченный до глубины души, я забыл о своем возрасте и о разнице в наших летах. Я пододвинул свое кресло, поднял ее носовой платок и тихонько отвел руки от ее лица.

– Не плачьте, ангел мой, – сказал я, вытирая платком слезы, стоявшие в ее глазах, будто она была той маленькой Лорой Фэрли, которую я знал десять лет назад.

Я сделал все, что мог, чтобы успокоить ее. Она положила головку на мое плечо и слабо улыбнулась мне сквозь слезы.

– Простите, я не смогла удержаться от слез, – сказала она просто, – я не очень хорошо себя чувствую последнее время, ослабела и немного нервничаю; я часто плачу без причины,

когда остаюсь одна. Мне лучше теперь, и я могу отвечать вам как надо, мистер Гилмор, право могу.

– Нет, нет, моя дорогая, – возразил я, – будем считать, что на данное время мы закончили наш разговор. Вы сказали достаточно для того, чтобы я как можно тщательнее позаботился о ваших интересах, и мы можем поговорить об остальном когда-нибудь, при случае. Покончим теперь с делами и поговорим о чем-нибудь другом.

Я начал говорить с ней на другие темы. Минут через десять настроение ее улучшилось, и я поднялся, чтобы уйти.

– Приезжайте опять, – сказала она очень серьезно. – Я постараюсь стать более достойной вашего доброго отношения ко мне, если только вы опять приедете!

Снова она цеплялась за прошлое в моем лице и в лице мисс Голкомб. Меня тревожило и огорчало, что она в самом начале своей жизни уже оглядывалась назад, как я – в конце моей.

– Если я снова приеду, надеюсь, я застаю вас в лучшем настроении, – сказал я, – более веселой и более счастливой. Да благословит вас Бог, ангел мой!

Вместо ответа она подставила мне щеку для поцелуя. Даже у адвокатов есть сердце, и мое немного щемило, когда я попрощался с ней.

Наше свидание продолжалось не более получаса, и за этот промежуток времени она ни словом ни обмолвилась о причинах, которыми можно было бы объяснить ее непонятное отчаяние и ужас перед предстоящим замужеством. Не знаю почему и каким образом, но я был теперь на ее стороне в этом вопросе. Я вошел в комнату, считая, что сэр Персиваль Глайд имеет основание жаловаться на ее обращение с ним. Я вышел из комнаты, в глубине души желая, чтобы она поймала его на слове и взяла обратно свое обещание. Конечно, человеку в моем возрасте и с моим житейским опытом не полагалось бы колебаться так безрассудно. Я не хочу оправдываться, я могу только честно признаться, что это было так.

Близился час моего отъезда. Я послал сказать мистеру Фэрли, что зайду попрощаться с ним, если ему будет угодно, но заранее прошу прощения за то, что буду вынужден торопиться. Он прислал мне в ответ записку – карандашом на полоске бумаги: «Сердечный привет и наилучшие пожелания, дорогой Гилмор. Всякая поспешность невыразимо пагубна для меня. Не забывайте о своем здоровье. До свиданья».

Перед тем как уехать, мы с мисс Голкомб поговорили с глазу на глаз в течение нескольких минут.

– Вы сказали Лоре все, что хотели? – спросила она.

– Да, – отвечал я. – Она очень слаба и нервна. Я рад, что вы около нее, чтобы о ней позаботиться.

Проницательные глаза мисс Голкомб внимательно изучали мое лицо.

– Вы начинаете менять свое мнение о поведении Лоры, – сказала она. – Сегодня вы снисходительнее к ней, чем были вчера.

Ни один здравомыслящий человек не будет вступать неподготовленный в словесное препирательство с женщиной. Я ответил ей:

– Дайте мне знать обо всем, что произойдет. Только получив ваше письмо, я начну составлять брачный контракт.

Она все еще внимательно смотрела на меня.

– Мне хотелось бы, чтобы со всем этим было покончено. Покончено раз и навсегда, мистер Гилмор. Того же самого хотели бы и вы. – С этими словами она ушла.

Сэр Персиваль чрезвычайно любезно проводил меня до кабриолета.

– Если вы когда-нибудь будете по соседству с моим поместьем, – сказал он, – прошу не забывать, что я искренне хочу продолжать наше знакомство. Старый и верный друг этой семьи всегда будет желаннейшим гостем в любом из моих владений.

Воистину неотразимый человек, любезный, внимательный, очаровательно простой и отнюдь не высокомерный, – джентльмен с головы до ног. По дороге на станцию я чувствовал, что с радостью сделал бы все в интересах сэра Персиваля Глайда – все что угодно, кроме составления брачного контракта для его будущей жены.

III

Прошла неделя с моего возвращения в Лондон – без всяких вестей от мисс Голкомб.

Через восемь дней на моем столе среди других писем было письмо и от нее.

Она извещала меня, что предложение сэра Персиваля Глайда было окончательно принято и что свадьба состоится, как он этого и хотел, еще до Нового года. По всей вероятности, это произойдет в середине декабря. В марте мисс Фэрли должен был исполниться двадцать один год. Таким образом, она становилась женой сэра Персиваля за три месяца до своего совершеннолетия.

Мне не следовало ни удивляться, ни огорчаться, и тем не менее я был и удивлен и огорчен. Кроме того, я досадовал на мисс Голкомб за краткость ее письма. Все это привело к тому, что мое настроение было испорчено на целый день. В нескольких строках моя корреспондентка уведомляла меня, что сэр Персиваль уехал из Кумберленда к себе домой, в Хемпшир, а в заключение писала, что Лора весьма нуждается в перемене обстановки и поэтому решено, что мисс Голкомб повезет свою сестру к старым друзьям в Йоркшир. На этом письмо заканчивалось, без всякого объяснения относительно тех обстоятельств, которые заставили мисс Фэрли согласиться на брак с сэром Персивалем через неделю после того, как я видел ее в последний раз.

Позднее мне подробно рассказали о причине этого внезапного решения. Но не буду передавать его со слов других. Все это произошло в присутствии мисс Голкомб, и, когда ее повествование придет на смену моему, она сама опишет со всеми подробностями, как именно это произошло. А пока что, прежде чем я положу перо и удалюсь с этих страниц, мой прямой долг – рассказать об одном деле, связанном с замужеством мисс Фэрли, а именно: о составлении ее брачного контракта.

Нельзя объяснить значение этого документа, не осветив предварительно некоторых подробностей, касающихся материального положения невесты.

Я постараюсь изложить их как можно ясней и короче, без разных технических деталей и терминов. Это весьма важно. Я предупреждаю тех, кто читает эти строки, что вопрос о наследстве мисс Фэрли играл очень серьезную роль в ее истории, и, если читатели хотят понять, как развивались дальнейшие события, им придется довериться опыту мистера Гилмора и выслушать его доклад.

Наследство, на которое могла рассчитывать мисс Фэрли, было двоякого рода: недвижимая собственность, земли, которые должны были перейти к ней лишь по смерти ее дяди, и денежный капитал, который поступал в ее распоряжение по достижении ею совершеннолетия.

Займемся сначала вопросом о землях.

Во времена деда мисс Фэрли (назовем его мистер Фэрли-старший) наследниками Лиммериджа – ибо мистер Фэрли-старший умер, оставив трех сыновей, – были: Филипп, Фредерик и Артур Фэрли. Филипп, как старший сын, унаследовал поместье. Если бы он умер, не оставив по себе сына, поместье перешло бы ко второму брату, Фредерику. Если бы Фредерик умер, тоже не оставив по себе сына, поместье наследовал бы третий брат, Артур.

Случилось так, что, когда мистер Филипп Фэрли умер, у него осталась единственная дочь, Лора, – главное действующее лицо этой истории, – и поэтому поместье перешло по закону его второму брату, Фредерику, холостяку. Третий брат, Артур, умер задолго до смерти

Филиппа Фэрли, оставив сына и дочь. Сын утонул восемнадцати лет от роду в Оксфорде. Его смерть делала Лору, дочь Филиппа Фэрли, возможной наследницей поместья, которое досталось бы ей только в том случае, если бы ее дядя Фредерик умер, не оставив ребенка мужского пола.

Значит, если только мистер Фредерик Фэрли не женится и не оставит наследника (а ни того ни другого от него никак нельзя было ожидать), его племянница Лора должна была получить поместье после его смерти, но это необходимо отметить – только в пожизненное владение.

Если бы она умерла незамужней девицей или бездетной, поместье перешло бы к ее двоюродной сестре Магдалене, дочери мистера Артура Фэрли. Если бы она, то есть Лора Фэрли, вышла замуж, обеспечив себя надлежащим брачным контрактом – иными словами, контрактом, который я намерен был для нее составить, – доход от поместья (верные три тысячи фунтов в год) при жизни был бы в ее распоряжении. Если бы она умерла раньше своего мужа, он, естественно, мог надеяться на этот доход в продолжение своей жизни. Если бы у нее родился сын, этот сын стал бы наследником Лиммериджа вместо ее двоюродной сестры Магдалены. Таким образом, женитьба на мисс Фэрли сулила сэру Персивалю после смерти мистера Фредерика Фэрли, во-первых, три тысячи фунтов в год (при жизни жены с ее разрешения, а после ее смерти – на законном основании, если он ее переживет) и, во-вторых, переход поместья Лиммеридж по наследству к его сыну, если таковой родится.

Вот и все касательно недвижимого имущества или доходов от него в случае замужества мисс Фэрли. Относительно этого пункта в брачном контракте между поверенным сэра Персивалия Глайда и мной не могло возникнуть никаких разногласий или других трудностей.

Рассмотрим теперь вопрос о денежном капитале, который являлся личной собственностью мисс Фэрли. Она должна была получить его к своему совершеннолетию. Эта часть ее наследства представляла сама по себе солидное состояние. Оно переходило к ней по завещанию ее отца и достигало суммы в двадцать тысяч фунтов. Помимо того, она имела еще пожизненный доход от суммы в десять тысяч фунтов. В случае ее смерти эти десять тысяч должны были перейти к ее родной тетке Элеоноре, единственной сестре ее покойного отца. Для того чтобы помочь читателю разобраться в этих семейных делах, я задержусь на минуту, чтобы объяснить, почему тетка наследовала эту сумму только по смерти племянницы.

Мистер Филипп Фэрли был в прекрасных отношениях со своей сестрой Элеонорой до тех пор, пока она оставалась незамужней. Но когда, уже немолодой, она вышла замуж за одного итальянского джентльмена, по фамилии Фоско, правильнее сказать – за знатного итальянца, ибо он носил титул графа, – мистер Фэрли так нетерпимо отнесся к ее замужеству, что порвал с ней все отношения и даже вычеркнул ее имя из своего завещания. Остальные члены семьи сочли его отрицательное отношение к браку сестры более или менее необоснованным. Граф Фоско, хоть и не богатый человек, был все же отнюдь не нищий искатель приключений. Он имел небольшой, но приличный собственный доход, много лет жил в Англии и принадлежал к высшему обществу. Но все это ничего не значило для мистера Фэрли. Он был англичанином старого закала во многих отношениях и ненавидел иностранцев только за то, что они иностранцы. Позднее, по настоянию мисс Лоры Фэрли, он все же согласился снова вписать имя сестры в свое завещание при условии, что та унаследует деньги только после смерти его дочери, а доход с этой суммы в десять тысяч фунтов будет в пожизненном пользовании его дочери, то есть Лоры Фэрли. Капитал же, если бы тетка умерла раньше племянницы, переходил к двоюродной сестре мисс Фэрли – Магдалене. Принимая во внимание возраст обеих наследниц, шансы тетки получить десять тысяч фунтов, естественно, были чрезвычайно сомнительными. Крайне обиженная несправедливостью брата, мадам Фоско отказалась встречаться с племянницей и не желала верить, что только благодаря вмешательству мисс Фэрли ее имя снова фигурировало в завещании.

Такова история этих десяти тысяч. По этому поводу никаких разногласий с поверенным сэра Персиваля тоже не могло возникнуть. Доходы с этой суммы должна была получать жена сэра Персиваля, а капитал переходил к тетке только по смерти племянницы.

Изложив все эти предварительные обстоятельства, я могу наконец подойти к тому, в чем заключалась суть всего дела: к двадцати тысячам фунтов.

По достижении двадцати одного года мисс Фэрли должна была получить эту сумму в полную собственность и могла распоряжаться ею в зависимости от тех условий, которые мне удалось бы выговорить в ее пользу при составлении брачного контракта. Остальные пункты контракта были чисто формальными, о них можно здесь и не упоминать. Но пункт, касающийся этих денег, слишком важен, чтобы не остановиться на нем. Я сделаю это вкратце.

Я намеревался договориться о двадцати тысячах фунтов таким образом: капитал должен был давать пожизненный доход самой леди; после ее смерти этим доходом должен был пожизненно пользоваться сэр Персиваль Глайд, а капитал наследовали дети от этого брака.

В случае бездетности сама леди могла распорядиться этой суммой по своему усмотрению, ввиду чего я оставлял за ней право составить завещание. Это означало: если бы леди Глайд умерла бездетной, ее сводная сестра мисс Голкомб и те из родных и друзей, кого она желала бы облагодетельствовать, могли наследовать по смерти ее мужа суммы, которые она им оставляла. Однако, если бы после нее остались дети, – естественно, весь этот капитал переходил к ним. Таковы были условия, вписанные мною в проект брачного контракта. И читатель не может не согласиться, по-моему, с тем, что они были справедливы и беспристрастны.

Посмотрим, как отнесся к моему предложению поверенный будущего мужа.

Я был чрезвычайно загружен делами, когда получил письмо мисс Голкомб. Но я выкроил время и составил брачный контракт. Менее чем через неделю после того, как мисс Голкомб известила меня о предстоящем браке, я послал брачный контракт на одобрение поверенному сэра Персиваля.

Через два дня поверенный баронета прислал мне документы обратно с отметками и примечаниями. В общем, его возражения были самыми пустячными или чисто техническими, пока дело не касалось двадцати тысяч фунтов. Против этого пункта стояли строки, подчеркнутые красными чернилами. Они гласили: «Неприемлемо. Капитал целиком переходит к сэру Персивалю Глайду в том случае, если он переживет свою жену и у них не будет детей».

Это значило, что ни одна копейка не достанется ни мисс Голкомб, ни кому-либо из родственников или друзей леди Глайд. Если она умрет бездетной, весь капитал очутится в кармане ее мужа.

На это дерзкое предложение я ответил так резко и кратко, как только мог:

«Дорогой сэр! Относительно брачного контракта мисс Фэрли. Безоговорочно настаиваю на пункте, против которого вы возражаете. Ваш такой-то». Через четверть часа я получил: «Дорогой сэр! Относительно брачного контракта мисс Фэрли. Безоговорочно настаиваю на том, что подчеркнуто красными чернилами и против чего вы возражаете. Ваш такой-то».

Иными словами, мы зашли в тупик, и нам не оставалось ничего другого, как посоветоваться с нашими клиентами.

Как известно, моим клиентом, поелику мисс Фэрли не было еще двадцати одного года, был ее опекун мистер Фэрли. Я сразу же написал ему, изложив, как обстояло дело, и не только настаивал на том, чтобы он поддержал выдвинутое мною условие, но и подробно объяснил ему те корыстные мотивы, которые скрывались за возражением относительно двадцати тысяч фунтов.

Познакомившись с делами сэра Персиваля, я выяснил, что долги на его собственном поместье были огромны и что его доходы, ранее весьма значительные, сводились в настоящее время к такой малой сумме, которая для человека его положения была просто ничтожной. Сэр Персиваль крайне нуждался в свободных деньгах, и возражение его поверенного против одного из условий брачного контракта было не чем иным, как откровенным и эгоистическим подтверждением этого факта.

Ответ мистера Фэрли пришел на другой день и оказался донельзя уклончивым и неопределенным. В переводе на удобопонятный язык ответ сводился к следующему: «Не будет ли дорогой Гилмор настолько любезен, чтобы не беспокоить своего друга и клиента такими пустяками, как забота о том, что может произойти в будущем? Может ли быть, чтобы молодая двадцатилетняя женщина умерла раньше сорокапятилетнего мужчины – и к тому же не народив детей? С другой стороны, можно ли недооценивать в этом суетном мире великое значение безмятежного покоя? Если в обмен на такой жалкий земной вздор, как перспектива получить в отдаленном будущем двадцать тысяч фунтов, предлагают такое блаженство, как безмятежный покой, разве это не выгодная сделка? Безусловно да. Так почему же не согласиться на нее?»

Я с возмущением отшвырнул от себя письмо. В ту минуту, как оно упало на пол, раздался стук в дверь, и в контору вошел мистер Мерримен, поверенный сэра Персиваля. В нашей среде много разновидностей хитрейших юристов, но труднее всего, как я считаю, иметь дело с теми из них, кто водит вас за нос под личиной неизменного благодушия. Безнадежнее всего иметь дело с толстыми, упитанными, дружелюбно улыбающимися коллегами. Мистер Мерримен принадлежал именно к таковым.

– Как поживает милейший мистер Гилмор? – начал он, сияя приветливостью. – Счастлив видеть вас, сэр, в таком великолепном здоровье. Я проходил мимо и решил зайти к вам на случай, если вам есть что сказать мне. Давайте покончим с нашим небольшим разногласием. Вы уже получили ответ от вашего клиента?

– Да. А вы от вашего?

– Дражайший сэр! Я хотел бы, о, как я хотел бы, чтобы он снял с моих плеч всякую ответственность, но он так упрям, скажем лучше – так настойчив, что не желает сделать это! «Мерримен, – сказал он, – поступайте, как находите правильным, и считайте, что я ни во что не вмешиваюсь, пока с делами не будет покончено». Вот слова сэра Персиваля. Он произнес их две недели назад, я могу только заставить его повторить то же самое, не более. Я, как вы знаете, мистер Гилмор, уступчивый человек. Уверяю вас, в частной беседе, конечно, что лично я тут же вычеркнул бы свое примечание. Но если сэр Персиваль не желает сам заботиться о своих интересах и слепо доверяется мне, что мне остается, как не защищать его интересы? Я связан по рукам – вы согласны со мной, дорогой сэр? – я связан по рукам.

– Иными словами, вы настаиваете на вашей оговорке? – сказал я.

– Да, черт побери! У меня нет другого выхода. – Он подошел погреться у камина, напевая себе под нос какую-то пошлую песенку.

– Что говорит ваша сторона? – продолжал он. – Скажите, прошу вас, что говорит ваш клиент?

Мне было стыдно рассказывать ему об этом. Я попробовал выиграть время. По правде сказать, я пошел даже дальше. Мои деловые инстинкты взяли верх над моим благоразумием, и я попытался сторговаться с ним.

– Двадцать тысяч фунтов – слишком крупная сумма, чтобы друзья леди так сразу и отдали ее, – сказал я.

– Совершенно верно, – ответил мистер Мерримен, задумчиво глядя вниз на свои ботинки. – Очень метко сказано, сэр, очень метко.

– Возможно, что компромисс, обоюдно устраивающий и жениха и семью леди, не испугал бы моего клиента, – продолжал я. – Ну, не упрямитесь! Мы можем полюбовно договориться об этой сумме. Каков ваш минимум?

– Наш минимум, – сказал мистер Мерримен, – равняется девятнадцати тысячам девятьсот девяносто девяти фунтам одиннадцати пенсам и трем фартингам! Ха-ха-ха! Не могу не сострить. Люблю хорошую шутку!

– Милая шуточка! – заметил я. – Она стоит как раз того фартинга, который вы позабыли.

Мистер Мерримен был в восторге. Стены задрожали от его хохота. Но мне было не до шуток, и я снова заговорил о делах, чтобы закончить наше свидание.

– Сегодня пятница, – сказал я, – дайте нам время до вторника для окончательного ответа.

– С удовольствием, – отвечал мистер Мерримен, – даже дольше, дорогой сэр, если желаете. – Он взял шляпу и собрался уже уходить, но обратился ко мне снова. – Кстати, – сказал он, – ваш кумберлендский клиент ничего больше не слышал про женщину с анонимным письмом?

– Нет, ничего, – ответил я. – Удалось ли вам ее выследить?

– Нет еще, – отвечал мой коллега. – Но мы не отчаиваемся. Сэр Персиваль подозревает, что кто-то прячет ее, и мы с кого-то глаз не спускаем.

– Вы подозреваете старуху, что была с ней в Кумберленде, да? – сказал я.

– О нет, сэр, кого-то другого, – отвечал мистер Мерримен, – мы еще не зацапали старуху. Наш «кто-то» – мужчина. Мы следим за ним здесь, в Лондоне. Мы сильно подозреваем, что он принимал участие в ее побеге. Дело не обошлось без его помощи. Сэр Персиваль хотел допросить его сразу же, но я сказал: «Нет, мы только спугнем его вопросами – надо выждать и понаблюдать за ним. Посмотрим, что дальше будет». Опасно оставлять эту женщину на свободе, мистер Гилмор, – неизвестно, что она может еще натворить... Счастливо оставаться, дорогой сэр. Надеюсь, во вторник я буду иметь удовольствие получить от вас весточку. – Он любезно осклабился и вышел.

Я довольно рассеянно прислушивался к тому, что рассказывал мой коллега. Я был так озабочен брачным контрактом, что пропустил мимо ушей все остальное. Оставшись один, я снова начал размышлять, как поступить дальше.

Если бы дело касалось любого другого из моих клиентов, я составил бы контракт в соответствии с полученными указаниями, как бы это ни было неприятно мне самому. Но я не мог отнестись с таким деловым равнодушием к мисс Фэрли. Я был по-настоящему привязан к ней, я с благодарностью вспоминал, что ее отец был не только моим клиентом, но и близким другом. Когда я составлял ее брачный контракт, я чувствовал к ней то же самое, что чувствовал бы к родной дочери, не будь я старым холостяком. Поэтому я решил, не считаясь с собственными неудобствами и затруднениями, во что бы то ни стало защищать ее интересы. Писать мистеру Фэрли вторично было совершенно бесполезно, он только снова выскользнул бы из моих рук. Возможно, что личное свидание с ним и личные переговоры принесли бы больше пользы. На следующий день была суббота. Я решил, что придется поразмять свои старые кости и съездить в Кумберленд, чтобы попытаться уговорить мистера Фэрли принять справедливое, разумное и правильное решение. Бесспорно, шансов на удачу было мало, но, по крайней мере, совесть перестала бы мучить меня. Я сделал бы все, что мог сделать человек в моем положении, для защиты интересов единственной дочери своего старого друга.

В субботу была прекрасная погода, сияло солнце, ветер дул в западном направлении. Последнее время я опять чувствовал, будто мою голову стягивает обруч, и страдал от головных болей, – два года назад доктор в связи с этим серьезно предостерег меня, – поэтому я решил пройтись по свежему воздуху. Я отправил чемодан на вокзал, а сам пошел туда пеш-

ком. Когда я вышел на Холборн, какой-то человек, быстро шедший мне навстречу, остановился и заговорил со мной. Это был Уолтер Харттрайт.

Если бы он не поклонился мне первый, я бы, конечно, прошел мимо. Он так изменился, что я с трудом его узнал. Он был бледный и худой, держался как-то неуверенно и все время озирался по сторонам. Я помнил его в Лиммеридже всегда аккуратным и подтянутым. Но на этот раз он был так небрежно одет, что, право, если бы один из моих клерков появился в таком виде, мне было бы стыдно за него.

– Вы давно вернулись из Кумберленда? – спросил он. – Я получил на днях письмо от мисс Голкомб. Я знаю, что объяснения сэра Персиваля Глайда были признаны удовлетворительными. Скоро ли будет свадьба? Может быть, вы знаете, мистер Гилмор?

Он говорил так быстро и в то же время так конфузился, что его с трудом можно было понять. Если он и жил в Лиммеридже на равной ноге с членами семьи Фэрли, это еще не давало ему права, с моей точки зрения, расспрашивать меня об их делах. Я решил поставить его на место.

– Поживем – увидим, мистер Харттрайт, – сказал я. – Поживем – увидим. Пожалуй, мы правильно поступим, если будем следить в газетах за сообщением о свадьбе. Извините, если я замечу, что, к сожалению, сейчас вы выглядите хуже, чем когда мы с вами расстались.

Легкая судорога пробежала по его лицу, я почти пожалел, что ответил ему так сдержанно.

– Я не имею права спрашивать о ее свадьбе, – сказал он с горечью. – Мне, как и другим, придется прочитать об этом в газетах... Да, – продолжал он, прежде чем я успел ответить, – последнее время я не очень хорошо себя чувствую. Мне хочется переменить обстановку и работу. У вас обширный круг знакомых, мистер Гилмор. Если вы услышите, что какой-нибудь заграничной экспедиции нужен художник и вам некого будет рекомендовать, я буду вам очень благодарен, если вы вспомните обо мне. Я ручаюсь, что аттестации мои в порядке, а мне самому безразлично, куда ехать, за какие океаны, и на какой срок.

Говоря это, он озирался по сторонам. Вид у него был странный, загнанный, как будто среди пешеходов был кто-то, кто следил за ним.

– Если я узнаю о чем-либо подходящем, я не премину известить вас, – сказал я, а затем прибавил: – Я еду сегодня в Лиммеридж по делу. Мисс Голкомб и мисс Фэрли уехали погостить к каким-то знакомым в Йоркшир.

Глаза его оживились. Казалось, он хочет что-то спросить, но лицо его снова передернулось от волнения. Он схватил мою руку, крепко пожал ее и ушел, так и не сказав больше ни единого слова. Я обернулся и посмотрел ему вслед с некоторым сожалением, хотя он и был для меня почти чужим человеком. Благодаря моей профессии я достаточно хорошо разбираюсь в молодых людях и могу сразу определить по внешним признакам, когда они сбиваются с пути. По дороге на вокзал я, к сожалению, сильно усомнился в будущем благополучии мистера Харттрайта.

IV

Выехав рано утром из Лондона, я прибыл в Лиммеридж к обеду. Дом показался мне донельзя пустым и скучным. Я думал, что за отсутствием молодых леди миссис Вэзи составит мне компанию за обедом. Но у нее был насморк, и она сидела у себя в комнате. Удивленные моим приездом, слуги хлопотали и нелепо суетились. Даже дворецкий, достаточно старый и умудренный опытом, чтобы понимать, что делает, подал мне бутылку ледяного портвейна.

Вести о здоровье мистера Фэрли были такими, как всегда. Когда я послал сказать ему о моем приезде, мне ответили, что он с восторгом примет меня на следующее утро, но на сего-

дняшний вечер это внезапное известие повергло его в полную прострацию, вызвав жесточайшее сердцебиение. Всю ночь жалобно завывал ветер, и в пустом доме то тут, то там гулко раздавались какие-то скрипы и трески. Я плохо выспался и в отвратительном настроении позавтракал утром в столовой в полнейшем одиночестве.

В десять часов меня отвели в апартаменты мистера Фэрли. Он был у себя в гостиной, в своем кресле и в обычном несносном настроении. Когда я вошел, его камердинер стоял перед ним навытяжку с тяжелейшей охапкой офортов в руках. Мистер Фэрли просматривал их. Несчастный француз изгибался самым жалким образом и, казалось, вот-вот упадет от усталости, а его хозяин невозмутимо перелистывал офорты и разглядывал их скрытые красоты через лупу.

– Лучший из всех добрых, старых друзей, – сказал мистер Фэрли, лениво откидываясь в кресле и не глядя на меня. – Вы совершенно здоровы? Как мило, что вы приехали скрасить мое одиночество, дорогой Гилмор!

Я ждал, что при моем появлении камердинеру будет разрешено удалиться, но не тут-то было – он остался стоять, продолжая гнутья под тяжестью офортов, а мистер Фэрли продолжал сидеть в кресле, невозмутимо поворачивая лупу в холеных пальцах.

– Я приехал поговорить с вами по очень важному делу, – сказал я. – Простите меня, но я хотел бы говорить с вами наедине.

Несчастный камердинер взглянул на меня с благодарностью. Мистер Фэрли с невыразимым изумлением слабо пролепетал:

– Наедине...

Но мне было не до шуток, и я твердо решил дать ему понять, о чем я говорю.

– Сделайте мне одолжение и разрешите уйти этому человеку, – сказал я, указывая на камердинера.

Брови мистера Фэрли высоко поднялись, а губы сложились в саркастическую улыбку.

– Человеку? – повторил он. – Вы шутите, старина Гилмор! Что вы подразумеваете, называя его человеком? До того, как я полчаса назад захотел взглянуть на офорты, он, возможно, был человеком и станет им опять, когда мне надоеет их смотреть. Но сейчас он просто подпорка для собрания офортов. Ну, разве подпорка может помешать нам разговаривать? К чему возражать против подпорки, Гилмор?

– Я возражаю. Прошу вас в третий раз, мистер Фэрли. Я хочу говорить с вами с глазу на глаз.

Мой тон и манера не оставляли ему выхода из положения, ему пришлось подчиниться. Он посмотрел на камердинера и с раздражением указал на стул подле себя.

– Положите офорты и убирайтесь, – сказал он. – Вы уверены, что я закончил осмотр на этом месте? Вы не перепутали? Ну, чего вы стоите? Не раздражайте меня. Вы поставили колокольчик так, чтоб мне удобно было позвонить? Да? Так какого же черта вы не уходите?

Камердинер удалился. Мистер Фэрли изогнулся в кресле, вытер лупу своим тончайшим батистовым платком и предался созерцанию офортов сбоку. При данных обстоятельствах мне было трудно сдерживаться, однако я сдержался.

– Я приехал к вам сегодня в интересах вашей семьи и вашей племянницы, хотя это было для меня чрезвычайно неудобно, – сказал я. – Мне кажется, что я заслужил некоторого внимания с вашей стороны.

– Не кричите на меня! – взвизгнул мистер Фэрли, беспомощно откидываясь в кресле и закрывая глаза. – Ради бога, не кричите на меня! Я не выдержу этого, я слишком слаб!

Ради Лоры Фэрли я твердо решил, что не дам ему вывести себя из терпения.

– Я приехал с целью убедить вас пересмотреть ваше письмо, – продолжал я, – и не заставляя меня приносить в жертву законные права вашей племянницы и ее имущество. Разрешите мне снова и в последний раз изложить вам, как обстоит дело.

Мистер Фэрли с видом великомученика глубоко вздохнул и покачал головой.

– Это безжалостно с вашей стороны, Гилмор, совершенно безжалостно! – сказал он. – Но что поделаешь, говорите.

Я подробно перечислил ему все пункты брачного контракта и осветил их со всех точек зрения. Он лежал, откинувшись в кресле, с закрытыми глазами в продолжение всего моего доклада. Когда я кончил свою речь, он лениво приоткрыл глаза, взял со столика флакон с нюхательной солью и стал томно нюхать его.

– Мой добрый Гилмор, – приговаривал он между понюшками, – как это мило и заботливо с вашей стороны! Из-за вас я готов примириться с человечеством.

– Прошу вас ответить мне напрямик, мистер Фэрли. Я повторяю вам снова, что сэра Персиваль Глайд не имеет никакого права претендовать на большее, чем доход с капитала. Сам капитал, если у вашей племянницы не будет детей, должен остаться в ее руках и в случае ее смерти вернуться в вашу семью. Сэру Персивалю придется уступить, если вы будете на этом настаивать. Ему придется уступить, если он не хочет, чтобы его заподозрили в том, что он женится на мисс Фэрли исключительно из корыстных целей.

Мистер Фэрли шутливо помахал в мою сторону нюхательным флаконом:

– Вы, мой добрый, старый Гилмор, терпеть не можете титулы и родовитость, правда? Как вы ненавидите Глайда за то, что он баронет! Какой вы радикал, о боже, какой вы радикал!

Я – радикал!!! Я мог вытерпеть многое, но, исповедуя незыблемые принципы консерваторов в течение всей моей жизни, я не мог снести, чтобы меня назвали радикалом! Кровь моя вскипела, я вскочил со стула, я онемел от негодования.

– Не сотрясайте стены! – завопил мистер Фэрли. – Ради всего святого, перестаньте сотрясать стены! Лучший из всех Гилморов, я не хотел вас обидеть! Мои взгляды настолько либеральны, что порой мне кажется, что я и сам радикал. Да. Мы пара радикалов. Умоляю вас, не сердитесь. Я не в силах ссориться – я слишком немощен. Бросим эту тему, да? Подите сюда и полюбуйтесь на эти милые офорты. Я научу вас понимать невыразимую жемчужность этих линий. Ну подойдите же, ну будьте славным Гилмором!

Пока он ворковал в таком роде, мне, к счастью, удалось прийти в себя. Когда я снова заговорил, я уже настолько владел собой, что мог обойти презрительным молчанием его наглую выходку.

– Вы глубоко заблуждаетесь, сэра, – сказал я, – предполагая, что я предубежден против сэра Персиваля Глайда. Я могу только сожалеть, что в этом деле он всецело доверился своему поверенному, и потому обращаться к самому сэру Персивалю Глайду бесполезно. Но я ничего не имею лично против него. Мои слова могли бы относиться к любому человеку, независимо от его положения. Принцип, за который я ратую, давно признан всеми. Если бы вы обратились к любому юристу, он сказал бы вам, как посторонний человек, то же самое, что говорю я, как старый друг вашей семьи. Он сказал бы вам, что крайне неразумно отдавать все деньги, принадлежащие леди, в полное распоряжение человека, за которого она выходит замуж. Исходя из обычной вполне законной предосторожности, он ни в коем случае не согласился бы дать мужу возможность получить капитал в двадцать тысяч фунтов в случае смерти жены.

– В самом деле, Гилмор? – сказал мистер Фэрли. – Если бы он сказал что-либо наполовину столь ужасное, уверяю вас, я позвонил бы Луи и приказал немедленно вывести его из комнаты.

– Вам не удастся вывести меня из терпения, мистер Фэрли! Ради вашей племянницы и ее покойного отца – вам не удастся вывести меня из терпения! Прежде чем я уйду, вам придется взять всю ответственность за этот возмутительный брачный контракт на себя.

– Не надо, умоляю вас, не надо! – сказал мистер Фэрли. – вспомните, что время – деньги, Гилмор, и не пренебрегайте им так. Если бы я мог, я поспорил бы с вами, но я не могу,

у меня не хватит жизненных сил. Вам хочется растревожить меня, самого себя, Глайда, Лору и – о боги! – ради чего-то, что вряд ли произойдет! Нет, дорогой друг, во имя безмятежности и покоя – положительно нет!

– Значит, я должен считать, что вы придерживаетесь решения, изложенного вами в письме?

– Да, прошу вас. Счастлив, что наконец мы поняли друг друга. Посидите еще, хорошо?

Я подошел к двери, и мистеру Фэрли пришлось позвонить в свой колокольчик. Прежде чем перешагнуть за порог, я в последний раз обратился к нему.

– Что бы ни случилось в дальнейшем, сэр, – сказал я, – помните, что я исполнил свой долг и предупредил вас. Как преданный друг и поверенный вашей семьи, я говорю вам на прощанье, что я бы никогда не выдал замуж свою дочь по такому брачному контракту, какой вы вынуждаете меня составить для мисс Фэрли.

Дверь за моей спиной открылась, и камердинер застыл на пороге в ожидании.

– Луи, – сказал мистер Фэрли, – проводите мистера Гилмора, а потом возвращайтесь держать мои офорты. Заставьте их подать вам хороший завтрак, Гилмор, заставьте моих бездельников-слуг, этих ленивых животных, подать вам хороший завтрак.

Я ничего не ответил, он был мне слишком противен. Я поклонился и молча вышел из комнаты. Обратный поезд уходил в два часа дня, с ним я и вернулся в Лондон.

Во вторник я отослал поверенному сэра Персиваля Глайда заново составленный брачный контракт, практически лишивший наследства тех лиц, о которых хотела вспомнить в своем завещании мисс Фэрли. У меня не было другого выхода. Если бы я отказался, другой юрист составил бы подобный брачный контракт вместо меня.

Мой труд окончен. Мое личное участие в истории этой семьи на этом прекращается. Другие опишут те странные события, которые вскоре последовали. С глубоким прискорбием я заканчиваю свой отчет. С глубоким прискорбием на прощанье я повторяю последние слова, произнесенные мною в Лиммеридже: я никогда не выдал бы замуж свою дочь по такому брачному контракту, какой я был вынужден составить для Лоры Фэрли.

Рассказ продолжает Мэриан Голкомб (Выписки из ее дневника)

I

8 ноября. Лиммеридж

Сегодня утром уехал мистер Гилмор.

Разговор с Лорой, по-видимому, огорчил и удивил его больше, чем он хотел в этом признаться. Он так поглядел на меня, когда мы прощались, что я даже испугалась, не выдала ли Лора по неосторожности истинную причину своей печали и моей тревоги. Я настолько разволновалась, что отказалась ехать кататься верхом с сэром Персивалем и вместо этого пошла к Лоре.

С той самой минуты, как мне стало ясно, что я недооценила силу несчастной привязанности Лоры, я перестала верить себе и своим суждениям. Я должна была понять, что чуткость, сдержанность, доброта и благородство Уолтера Хартрайта, которые так нравились мне и завоевали мою искреннюю привязанность и уважение, были именно теми качествами, к которым Лора, такая чуткая и великодушная, должна была неотвратимо потянуться. И все же, пока она сама не призналась мне в этом, я и не подозревала, как глубоко это чувство запало ей в сердце. Сначала я думала, что время поможет ей исцелиться. Теперь я боюсь, что она никогда не разлюбит его и это пагубно отразится на всем ее будущем. Мысль, что я могла так жестоко ошибиться, заставляет меня теперь сомневаться во всем. Я не верю себе. Я стала крайне нерешительной. Несмотря на все доказательства, я еще не вполне верю сэру Персивалу. Я даже не решаюсь поговорить с Лорой. Сегодня утром я стояла у порога ее комнаты и не знала, спросить ли ее о том, о чем я хотела, или нет.

Когда наконец я вошла, она нетерпеливо ходила по комнате, возбужденная и взволнованная; прежде чем я успела вымолвить слово, она сама обратилась ко мне.

– Я хотела видеть тебя, – сказала она. – Посиди со мной, Мэриан! У меня нет больше сил! Я должна с этим покончить!

Щеки ее горели, движения были непривычно решительны, голос непривычно тверд. Альбом с рисунками Хартрайта, над которым она сидит часами, когда остается одна, был у нее в руках. Я тихонько отняла его у нее и положила подальше на столик, чтобы она его не видела.

– Расскажи мне, дорогая, как ты намерена поступить. Мистер Гилмор тебе что-нибудь посоветовал?

Она покачала головой.

– Нет, я думаю совсем о другом. Мистер Гилмор был очень добр и ласков со мной. Мэриан, мне стыдно, что я начала при нем плакать и напугала его. Я ничего не могу с собой поделать, я не могу удержаться от слез. Для самой себя, для всех нас мне надо собрать все свое мужество и раз навсегда покончить с этим.

– Ты хочешь сказать, что тебе придется набраться мужества, чтобы отказать сэру Персивалу?

– Нет, – ответила она, – чтобы сказать ему всю правду, дорогая!

С этими словами она обняла меня и положила мне голову на грудь. Напротив нас на стене висела миниатюра – портрет ее отца. Я наклонилась к Лоре и увидела, что она смотрит на этот портрет.

– Я не могу отказать ему сама, – продолжала она. – Чем бы все это ни кончилось, мне все равно не быть счастливой. Чтобы не мучиться в будущем угрызениями совести, вспоминая, как я нарушила свое обязательство и забыла предсмертное напутствие моего отца, мне осталось только одно, Мэриан...

– Что ты хочешь сделать? – перебила я.

– Сказать сэру Персивалю всю правду, – отвечала она. – Когда он все узнает, он сам вернет мне свободу, по собственному желанию, а не потому, что я прошу его об этом.

– Всю правду, Лора? О чем ты говоришь? Тебе достаточно сказать сэру Персивалю, что ты обручилась с ним не по своей воле, вот и все. Тогда он вернет тебе слово – он сам мне сказал.

– Но разве я могу это сделать, когда отец благословил нас с моего согласия? И я бы сдержала свое слово, не радуясь, наверно, но и не ропща... – Она замолчала, придвинулась ко мне и прислонилась щекой к моей щеке. – Я бы сдержала свое слово, Мэриан, если бы в моем сердце не выросла другая любовь, которой не было, когда я согласилась стать женой сэра Персиваля.

– Лора! Неужели ты до такой степени унизишься перед ним, что скажешь ему об этом?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.